Кр51 3/67

ПОПУЛЯРНАЯ БИБЛИОТЕКА
ЭВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ НАРОДОВ СССР

№ 5

Кр51 3/67

СЕРГЕЙ ГЕССЕН

СТУДЕНЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В НАЧАЛЕ ШЕСТИДЕСЯТЫХ ГОДОВ

1932

ИЗДАТЕЛЬСТВО ПОЛИТКАТОРЖАН

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ БИБЛИОТЕКА
ПО ИСТОРИИ РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ
В ОЧЕРКАХ, ВОСПОМИНАНИЯХ И БИОГРАФИЯХ

1932 г. № 5

Кр. 51 — 3
67

СЕРГЕЙ ГЕССЕН

СТУДЕНЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В НАЧАЛЕ ШЕСТИДЕСЯТЫХ ГОДОВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА
ПОЛИТКАТОРЖАН И ССЫЛЬНО-ПОСЕЛЕНЦЕВ
МОСКВА 1932

Госуд. публичная историческая библиотека РСФСР

10403-32

БИБЛИОТЕКА Государ. Истор. Музея № 10403 21 XI 1932 г.

Типография „Советский Печатник“, Моховая, 40.

ПРЕДИСЛОВИЕ

В словаре русской реакции слово „студент“ было синонимом политически - неблагонадежного лица. Студенческая фуражка в течение полустолетия являлась предметом настороженного и бдительного внимания полицейских органов и особенной ненависти черной сотни. К этому имелись серьезные основания. На протяжении всей истории русского революционного движения студенчество играло в нем выдающуюся роль. Во всех антиправительственных кружках, во всех революционных организациях, начиная с первой „Земли и Воли“, студенты принимали активное участие. Они „ходили в народ“, руководили рабочими кружками, печатали и распространяли нелегальную литературу, являлись исполнителями террористических актов, создавали первые социал-демократические организации.

Правительство отдавало их в солдаты, ссылало в Сибирь и лишало жизни. Но истребляя отдельных, наиболее выдающихся представителей студенческой громады, правительство бессильно было истребить революционный дух, глубоко проникавший „разночинную“ студенческую массу.

Первые громкие студенческие „дела“ относятся еще к николаевской эпохе, когда студенчество—полудворянское, полуразночинное по своему составу—являлось предметом тщательнейших попечений III отделения, упрекавшего „экзальтированную моло-

дежь" в том, что она, не имея „никакого представления ни о положении России, ни об общем ее состоянии, мечтает о возможности русской конституции, уничтожении рангов, достигнуть коих у них нехватает терпения, и о свободе, которой они совершенно не понимают, но которую полагают в отсутствии подчинения. В этом развращенном слое общества мы снова находим идеи Рылеева, и только страх быть обнаруженными удерживает их от образования тайных обществ".

Но все раскрытые в царствование „незабвенного" заговоры с участием студенчества, включая „опаснейший" заговор Петрашевцев, либо не имели непосредственной связи с вопросами студенческой жизни, либо носили случайный характер. Университетские коридоры по-настоящему стали ареной революционного брожения только в конце 50-х годов, с изменением общих условий студенческого быта и первыми выступлениями широких демократических элементов.

Кризис крепостного хозяйства к этому моменту зашел настолько далеко, что необходимость ликвидации внешних форм крепостничества сознавалась и самыми крепостниками. Подъем крестьянского движения создавал атмосферу ожидания великих событий, которых одни боялись, как новой пугачевщины, а другие ждали, как неизбежной социальной революции. Социалистические идеи Запада, развивавшиеся там на фоне рабочего движения, проникая на скифский Восток, получали иной фон— крестьянской революции. Отсюда „народничество" первых русских социалистов, чья проповедь уже звучала на страницах легальных журналов. В теоретических статьях и памфлетах Чернышевского и его товарищей закладывались основы народнического социализма. Идеологическая борьба за

„крестьянский путь“ начиналась всерьез, и застрельщиком ее явилась демократическая разночинная молодежь, захватывавшая в это время скамьи аудиторий высшей школы. Правда, в атмосфере „либеральных веяний“ в эту борьбу втягивались и сравнительно умеренные элементы, увлеченные общим подъемом, но демократическая сердцевина движения выяснилась довольно скоро. Вслед за подъемом студенческой волны началась диференциация студенчества, часть которого ушла в революционное подполье, а другая, забыв громкие фразы, превратилась в добропорядочных чиновников, либеральничавших лишь на манер щедринских героев.

В данной работе меня интересует именно этот подъем волны, выразившийся в массовых студенческих волнениях на рубеже шестидесятых годов. Им и посвящены нижеследующие страницы. Книга эта ни в какой мере не претендует на роль исследования. Цель автора заключалась в сведении воедино разрозненных свидетельств о студенческих событиях и в подведении некоторых предварительных итогов.

НА РУБЕЖЕ

Русские университеты в середине пятидесятых годов управлялись на основании знаменитого во многих отношениях устава 1835 года. Устав этот, в значительной мере, продиктован был правительству уроками заговора декабристов, побудившего к общему и коренному пересмотру учебно-воспитательной системы. Основная, руководящая идея устава по существу сводилась к тому, чтобы университетскую науку сделать монополией „высшего сословия". При этом дворянская молодежь, прежде того в массе своей пренебрегавшая университетом ради всевозможных пансионов и иных частных учебных заведений, а то и попросту ради старозаветного домашнего воспитания с гувернерами и дядьками,—теперь всеми средствами привлекалась в университет и там задерживалась возможно дольше. С этою целью трехгодичный университетский курс был увеличен до четырех лет. Вместе с тем двери университета, широко распахнутые для дворянских отпрысков, оказывались чрезвычайно тесными, почти непроходимыми для представителей низших сословий и совершенно закрытыми для посторонних слушателей.

Этот замкнутый, строго кастовый университет был, кроме того, подчинен сугубому и придирчивому контролю правительства, осуществлявшемуся непосредственным университетским начальством—

попечителями. О достоинствах и соответствии своему высокому назначению этих новых „хранителей науки“ можно судить хотя бы по тому, что, напр., московский попечитель, кн. С. М. Голицын, никак не мог понять, почему в случае болезни профессора лекция его отменяется, тогда как его должен заменить „следующий по очереди“. Таким образом,—иронизировал Герцен,—„отцу Терновскому пришлось бы иной раз читать в клинике о женских болезнях, а Рихтеру—толковать бессеменное зачатие“. Инспектор студентов, прежде выбиравшийся советом, теперь назначался попечителем. Официально он мог быть лицом „гражданским или военным“, но на практике, обыкновенно, предпочтение отдавалось, конечно, последним. Правление, функции которого ограничивались хозяйственными делами, подчинялось, минуя совет, тому же попечителю.

Не касаясь подробно иных сторон этого устава, что увлекло бы нас далеко в сторону, замечу только, что он не оставлял без внимания, кажется, ни одной мельчайшей подробности университетской жизни, на каждую из них прилепливая мертвящий ярлык николаевского режима. Нужды нет говорить, что студенты затягивались в казенную форму, а в поведении своем подчинялись точному и строгому регламенту.

Не менее важны были, в целях совершенного приспособления университетов для нужд самодержавия, и коренные изменения в учебных программах. Перемены эти имели в виду усиление практического, догматического характера университетской науки, за счет ее теоретических основ. В интересах полнейшего соблюдения „православия, самодержавия и народности“, на всех факультетах в качестве обязательных предметов вводились богословие, церковная история и русское действующее право.

Номинально устав 1835 г. существовал около четверти столетия. Но на самом деле, под давлением различных общественных факторов, устав претерпевал серьезнейшие изменения. И таковы уже были условия русской жизни, что явления, накануне представлявшиеся пределом реакции, на следующий день, по сравнению с настоящим, казались „благоуханными цветами вольности". Так случилось и с университетским уставом, который не устоял перед грозой 1848 года. В свете зловещих революционных зарниц жестокие рогатки, расставленные этим уставом просвещению, уже не казались русским государственным мужам достаточной панацеей против вторжения в университеты иноземного вольнодумства. Губительное действие этого юридически сохраненного устава было несравненно усугублено различными чрезвычайными мерами. Всевозможные „положения" и „инструкции" посыпались, как из рога изобилия. Ректоры и деканы стали назначаться и увольняться министром. На их обязанности лежал строжайший контроль преподавания. Деканы должны были следить за тем, чтобы в содержании программ не укрылось ничего несогласного „с учением православной церкви или с образом правления и духом государственных учреждений". Состав преподаваемых дисциплин подвергался пересмотру. Из университетских курсов изгонялись совершенно философия, про которую император Николай говорил, что „польза от нее не доказана, а вред возможен", и государственное право европейских держав, „потрясенных внутренними крамолами и бунтами в самых основаниях своих". Еще несравненно горше сложилась судьба логики и психологии, преподавание которых вверялось... профессорам богословия.

Но все указанные профилактические меры представлялись николаевским выученикам еще недоста-

точными. Наряду с этим неслыханным полицейским зажимом шло искусственное сокращение количества студентов. Простейшим способом было, конечно, сильное ограничение числа вакансий. Вместе с тем дворянству снова настойчиво рекомендуется итти не в университеты, а в военные учебные заведения. Оберегая, таким образом, дворянскую молодежь от тлетворного влияния университетского духа, правительство уже начинало сознавать необходимость самый университет оберегать от влияния разночинного студенчества. Временной мерой в этом направлении послужило сильное повышение платы за слушание лекций.

Кто имеет представление о том безнадежном, страшном тупике, в который завела Россию николаевская система, тот, на основании всего вышесказанного, легко составит себе понятие о состоянии университетов. Оплетенная страшной паутиной реакции и обскурантизма, университетская жизнь совершенно задыхалась в тисках николаевского самодержавия.

Бьет барабан. Однообразные, затянутые в мундиры шеренги маршируют по университетскому коридору. Командные окрики гулко перекатываются из конца в конец. Г.г. инспекторы, шныряя посреди рядов, пытливо высматривают оборванную пуговицу или расстегнутый крючок мундирного воротника. Это—студенты Петербургского и Московского университетов проходят военные науки и экзерциции. Это—ослепленное безнадежностью правительство пытается противостоять кризису, непреложно обозначившемуся с началом Севастопольской кампании.

Когда барабан замолкает, псевдо-солдаты отправляются в аудитории, где запуганные профессора преподают им логику и терапию, древнюю историю и химию совершенно согласно „с учением православной церкви“. Мелочный надзор начальства, одухотворяемый умирающим режимом, преследует студентов и за стенами университета. Он властно вторгается в их частную жизнь, в их поступки, в их помыслы. Он душит в них зародыши общественного самосознания, заглушает всякую общественную, всякую творческую мысль.

И все это рушится. Николай погибает под обломками им же созданного режима. И все—даже наиболее реакционные государственные деятели, во главе с консервативно настроенным наследником,—с беспощадной остротой ощутили крах, полную несостоятельность социального и политического строя. Государственная машина требовала капитального ремонта во всех своих отраслях, и в частности—в области высшего образования.

Тесный мундир, в который Николай затянул университет, треснул прежде, нежели был скроен новый. Сознание необходимости коренного переустройства академической жизни далеко предшествовало выработке сколько-нибудь ясного и отчетливого представления о самом характере и формах этого переустройства. Таким образом, нет ничего удивительного в том, что жизнь обгоняла законодателя, что университетские реформы происходили, по существу, явочным порядком и что, поэтому, размах их оказывался совершенно не по плечу трусливому, либеральничающему правительству. Все университетские „свободы“ были, строго говоря, не „дарованы“, а завоеваны, вырваны самой жизнью, независимости от воли государственного аппарата. Они напоминали нормы обычного права, не укрепленные,

однако, традицией, временем, и потому необычайно шаткие и ненадежные в условиях самодержавного строя.

Так или иначе, но во второй половине 50-х годов университет праздновал свободу. „Крестовый поход на науку"—кончился. Стеснительные меры рушились одна за другой. Барабан решительно изгоняется из университета. Зато постепенно восстановливаются опальные дисциплины, в первую очередь государственное право европейских держав. Логика и психология изымаются из ведения власти духовной. Затем оказывается, что „при совершенном изменении теперь направления современных идей, вполне отражающих в себе чисто-утилитарные стремления века,—не представляется никаких препятствий к восстановлению преподавания философии, если не в полном ее объеме, то, по крайней мере, в одной ее части—истории философии, как науки, по преимуществу проясняющей истины и разрушающей предрассудки и стремления к материализму".

Это было далеко не все. В университетах фактически терпятся корпорации. Организуются студенческие кассы взаимопомощи, кружки самообразования, библиотеки. Появляется студенческий суд, первые студенческие журналы. С университетских кафедр читаются публичные лекции, устраиваются диспуты. Сходки, официально запрещенные, фактически допускаются, и никто, в течение нескольких лет, не напоминает их участникам, что они совершают противозаконные поступки. Аудитории наполняются пришлым элементом—молодыми чиновниками, офицерами, даже—неслыханное дело!—женщинами.

Но студенчество уже само властно поднимает голос. В нем зарождается критическое отношение к профессорским лекциям, и оно начинает чувствовать тесноту академической аудитории.

Одновременно с университетскими реформами начинаются студенческие волнения и беспорядки. Они, с одной стороны, привели к новому наступлению реакции, с другой — к неслыханному дотоле отпору студенчества, оказанному осенью 1861 года. Для того чтобы уяснить себе источники всех этих явлений, надлежит ближе присмотреться к тому, что представляло собой студенчество того времени.

В развитии академической жизни, в развитии студенческого движения несравненно бóльшую роль, нежели все вышеперечисленные явления, сыграло коренное изменение социального состава студенчества. Новые условия русской жизни уже не вмещались в жесткие рамки феодально-крепостнических отношений. Дворянский университет, несовместимый с интенсификацией капиталистического развития, пал. Жизнь властно требовала увеличения кадров культурных работников. Парниковое растение— кастово-замкнутый, дворянский университет ни в какой мере не мог удовлетворить этой потребности. Правительство силою обстоятельств оказалось вынужденным отменить комплекты студентов, ввести стипендии, отказаться от использования платы за правоучение в качестве оградительной меры против вторжения в университет „инородных элементов“. Напротив того, университетские двери широко распахнулись перед разночинцем. В университет шли разоряющиеся молодые дворяне, мелкое чиновничество, нищее сельское духовенство, мещанство. Подчас же в аудиториях стучали даже смазные деревенские сапоги.

К сожалению, нет никаких данных, по которым можно было бы сколько-нибудь точно определить социальный состав этого нового студенчества. Но достаточно сказать, что в Петербургском университете в 1855 г. из общего числа свыше тысячи сту-

дентов нашлось только 360 человек, способных внести плату за слушание лекций.

„Это не был пролетариат в социально-экономическом смысле,—замечает М. Н. Покровский,—но это были „пролетарии“ в смысле бытовом, для которых вопрос о добывании насущного хлеба был центральным вопросом существования“. Замечу, что и современник, студент Острогорский, сам в теплое время ночевавший на скамейке Адмиралтейского бульвара, „благо не гнала полиция“, называл студенчество конца 50-х годов „мыслящим пролетариатом“. Результаты обследования студенческого быта, произведенного около этого времени, потрясли даже людей, отнюдь не склонных к сильным эмоциям. Один из московских профессоров признавался в дружеском письме, что он не подозревал существования такой нищеты среди студенчества, с которой ему пришлось столкнуться. „Нищета вопиющая, которая не позволяет отвернуть глаза... Поверите ли, что есть буквально умирающие с голоду, есть студенты в лохмотьях и пр.“... Другой профессор, известный историк Ешевский, человек более чем „лойяльный“, определяя студенчество этого времени как социальную группу, отмечал, что огромное большинство в нем составляли бедняки, приходившие учиться часто пешком, из отдаленных губерний.

Новое, или, точнее сказать, обновленное студенчество властно ощущало уже тесноту и духоту академических аудиторий. Оно рвалось на вольный воздух, в широкую общественную жизнь. „В университете тогда пенилось очень сильно пиво,—вспоминал Н. В. Шелгунов [1] — он был, так сказать,

[1] Шелгунов пишет о Петербургском университете, который имел возможность ближе наблюдать. Но его характеристика, как и ниже приводимые отзывы Д. И. Писарева и др. приложимы и к другим университетам, которые все, с разной постепенностью, проходили те же этапы развития.

газометром, указывавшим высоту и давление паров; Чернышевский, Добролюбов были пророками университетской молодежи, приходившей в восторг от того, что они находили в строках, а еще больше от того, что читали потом между строками. Чем крайнее и смелее были статьи, тем они сильнее действовали на студентов". Но студенчество воспитывалось не только на легальной литературе. В студенческих библиотеках уже появлялись запретные плоды, вплоть до Герценовского „Колокола", в какой-нибудь ультра-невинной обложке.

Наряду с этим отдельные представители студенческой молодежи входят равноправными членами в русское общественное движение. В передовых, верхних слоях студенчества организовываются революционные кружки, как кружок М. Муравского в 1855 г. в Харьковском университете или кружок П. Э. Аргиропуло и П. Г. Зайчневского в Московском университете в 1861 г. Студенты преподают во вновь организуемых воскресных школах, пытаясь, таким путем, нести свою проповедь в рабочие и крестьянские массы. Студенты тайно печатают и распространяют листовки и прокламации, нелегальные издания Герцена и Огарева, Бюхнера и Фейербаха.

Все это были, конечно, явления исключительного порядка, по которым нельзя еще судить вообще о характере студенческого движения. В революционных кружках, в тайном книгопечатании, в революционной пропаганде—участвовало не студенчество, а студенты. Но вместе с тем, несомненно, не так далек был от истины и Митрофан Муравский, утверждавший, что в это время „не было ни одного верноподданного студента". Напряженно прислушиваясь и откликаясь на все „злобы дня", на все общественные и политические события этой

бурной, переходной эпохи, студенчество все более осознавало в себе могучую общественную силу, как бы предчувствуя уже выдающуюся роль, которую суждено ему сыграть в последующем поступательном ходе революционного движения.

Это было время не только правительственной ломки. Последняя, как мы теперь хорошо знаем, стимулировалась отнюдь не благородными качествами „царя-освободителя". Она предопределялась крахом старой феодально-крепостнической системы, тем сложным социально-экономическим процессом, который развивался в недрах императорской России. Одним из следствий этого процесса явилось постепенное перерождение общественного движения, в котором руководящая роль от дворянства постепенно переходила в руки разночинной буржуазно-демократической интеллигенции. Рассадники этой новой интеллигенции, университеты, конечно, не могли оставаться в стороне от общественного движения. Студенчество — в то время — представляло собой передовые кордоны, застрельщиков демократической интеллигенции. Оно превращалось в рупор общественного мнения, в котором все громче звучало сперва только разочарование, а потом и возмущение.

Все это, по-своему, было понято и расценено еще теми современниками, которые с ужасом взирали на роль студенчества и на пробуждение в них общественного самосознания. Записка Московской университетской комиссии (в которую входили профессора Бодянский, Ешевский, Соловьев и Чичерин), составленной для исследования причин студенческих беспорядков 1861 года, гласила, между прочим, следующее: „Русское общество внушило студенту такое понятие о его достоинствах, какое едва ли существует в другой стране... Вследствие

вкравшейся у нас от бездействия привычки вовлагать по возможности все обязанности на других, у нас призванными к деятельности постоянно считаются подрастающие поколения, тогда как поколения зрелые начинают уже спокойно наслаждаться жизнью. От того молодые люди исполняются сознанием своего высокого значения. Студент в России является уже не учащимся, а учителем общества; последнее смотрит на него с некоторой гордостью и некоторым уважением. В глазах многих студент представляет будущую надежду России".

Таким образом, по выражению Шелгунова, университет являлся барометром общественного настроения. И барометр этот, кажется, никогда не показывал „ясно", а чаще всего „переменно", причем стрелка со зловещим постоянством уклонялась к „буре". В 1858 г. студент III курса, Д. И. Писарев, отмечавший, что „университет сближался с жизнью лучшей части общества", приписывал это молодому студенчеству и поражался его боевому настроению, столь несвойственному студентам старших курсов. „Поступая в университет, мы были робки, склонны к благоговению, расположены смотреть на лекции и слова профессоров, как на пищу духовную и как на манну небесную. Новые студенты, напротив того, были смелы и развязны и оперялись очень быстро, так что через какие-нибудь два-три месяца после поступления они оказывались хозяевами университета и сами поднимали в студенческих кружках дельные вопросы и серьезные споры... Скоро оказалось, что новые студенты распоряжаются умно и дельно".

ПЕРВЫЕ „СТУДЕНЧЕСКИЕ ИСТОРИИ“

Студенческое движение имело и свою историю и свою предисторию. Первые студенческие выступления носили частный характер столкновений с университетской администрацией на почве борьбы с стеснительными правилами внутреннего распорядка или с полицейскою властью, отнюдь не разделявшей с передовой интеллигенцией чувства преклонения перед университетской молодежью. Не менее часты были выступления против непопулярных профессоров.

Сплошь и рядом повод к началу волнений сам по себе был крайне незначителен. Так, напр., в 1857 г. в Киеве некий полковник Брынкин увековечил имя свое в анналах истории тем, что ударил хлыстом студента, толкнувшего его собачонку. „Все студенчество восстало и задумало проучить дерзкого полковника,—рассказывает проф. Романович-Славутинский.—Действовали единодушно и солидарно—все студенчество как целая единица, и стар и млад, и поляк и русский, и словесник и медик—все это слилось воедино и жестоко проучило Брынкина“. Правительство сначала приняло сторону собачонки. Из Петербурга прислан был флигель-адъютант, и „зачинщики“ упрятаны в крепость. Император Александр выпустил их, когда в октябре того же года проезжал Киев.

Около этого же времени несравненно более серьезное столкновение произошло в Московском университете. Академическое начальство приписывало чрезвычайно серьезное значение этому инциденту. Упомянутая выше Московская следственная комиссия 1861 г., исследуя причины и источники студенческих беспорядков, писала: „До конца 1856 года в студентах Московского университета не было заметно никакого особенного движения. В это время случилась известная история с московской полицией. Студенты были оскорблены. Суд и высочайшая воля решили дело в их пользу. Виновные были наказаны по закону.

„Это событие в первый раз вызвало в студентах мысль о своем единстве..... Насилие, совершенное над товарищами, почувствовалось как оскорбление всех. Так как первоначально не было принято мер для наряжения следствия и все дело грозило кончиться ничем, то весь университет взволновался. Каждый день собирались сходки. Тогда г. попечитель предложил студентам выбрать с каждого курса по два депутата, которые могли бы постоянно сноситься с начальством для наблюдения за ходом дела.

„Это первое студенческое движение увенчалось полным успехом. Студенты видели, что назначение следственной комиссии было вызвано теми требованиями, которые они предъявляли массою. С этих пор укоренилась в них привычка к сходкам и депутациям“.

Читатель простит мне эту длинную выдержку из малоизвестного документа. Официальное заключение лучше всяких воспоминаний современников дает представление о внутреннем смысле происшествия. А само происшествие заключалось в следующем. Некий, не в меру ретивый квартальный,

выслеживавший какого-то мошенника, принял за такового студента, направлявшегося с кульком шампанского на вечеринку к студенту Ганусевичу. Квартальный захватил одного своего коллегу и заявился на вечеринку с требованием выдачи „преступника“. Студенты в это время варили „жженку“— неизменный атрибут всех студенческих вечеринок, о чем с такой яркостью вспоминал еще Герцен. Ясное дело, что они не отперли двери блюстителям порядка, заверив их, что никакого мошенника не укрывают. Потерпев поражение, квартальные отправились за моральной и материальной поддержкой к частному приставу Сретенской части. Тот, в пьяном виде, благословил квартальных выразительным: „Бей их“. Маленький карательный отряд значительно округлился прибавлением двух десятков городовых и пожарных и смело пошел на приступ. Дверь была сорвана с петель, и дикая ватага бросилась с тесаками и саблями на пирующих. Студенты не растерялись. Они потушили свечи и, отчаянно отбиваясь бутылками, стали пробиваться к выходу. При этом сам хозяин и двое его товарищей жестоко пострадали, будучи избиты и изрублены тесаками и в тяжелом состоянии доставлены „победителями“ в Сретенскую часть.

О том, как реагировало студенчество на это дикое проявление полицейского произвола, мы уже знаем. На следующий день, едва узнав об этом происшествии, студенты устремились в Сретенскую часть и, по выражению современника, „буквально разнесли там всех и все, выручили трех избитых, израненных товарищей и торжественно унесли их на руках в клинику“. На сходках говорились горячие речи о необходимости проучить полицию и добиться прекращения безответственных арестов студентов. Распространялись прокламации с призы-

вами студентов к массовому протесту. Настроение было таково, что генерал-губернатор Закревский, выученик Николаевской школы, доносил императору Александру, что в университете бунт. Бунта не было, но, кажется, вся Москва заразилась негодованием. Вся и все сочувствовало студентам, восторгалось их поведением, их единодушием и напряженно ожидало решения дела.

Атмосфера была накалена до такой степени, что правительство оказалось вынужденным уступить общественному мнению. Бравых квартальных разжаловали в солдаты.[1] Студенты же были „помилованы". Высочайшая резолюция гласила: „Студента Ганусевича, принимая во внимание, что он был в необходимости учинить нарушение закона, оставить свободным от суда и взыскания". Иными словами, как в известном судейском анекдоте: „невиновен, но заслуживает снисхождения".

Нечто очень сходное происходило и в Петербургском университете. Пожалуй, там отношения студенчества с полицией были еще напряженнее и столкновения много чаще, может быть потому, что вообще в Петербурге в это время, как вспоминает А. М. Скабичевский, царило „особое озлобление" против полицейского произвола и „очень часто происходили стычки с полицией не одних студентов, а публики вообще".

Первое серьезное столкновение студенчества с полицией произошло осенью 1858 г. Подробности, вызвавшие его, неизвестны, но самый факт заключался в оскорблении полицейскими чинами студента Рашевского. Оскорбленный апеллировал непосредственно к шефу жандармов, гр. П. А. Шувалову. Тот наговорил оскорбленному студенту грубостей и вы-

---

[1] Студенты устроили денежный сбор в пользу их семейств,

слал его вон. Тогда весь университет возмутился, восприняв оскорбление Рашевского как оскорбление всей студенческой корпорации. „Студенты бурлят и накликают на университет беду“, записал 16 сентября профессор и цензор А. В. Никитенко. Но самодержавный строй таил в себе множество необычайных возможностей. И грозовые тучи, которые, по убеждению выросшего в традициях Николаевской высшей школы Никитенки, неизбежно должны были громовым ударом разразиться над университетом, прошли стороной. Более того, попечитель И. Д. Делянов вызвал к себе нескольких студентов,—„как говоривших речи и „аки“, по его выражению, „раздувальщиков дела“. Он долго и дипломатично увещевал их, говоря, что „Шувалов, хотя и прекрасный человек, но мог погорячиться“, что всякие подобные недоразумения должны разрешаться университетской полицией. „Затем,—вспоминает один из депутатов, Л. Н. Модзалевский,—следовали со стороны г. попечителя обещания служить интересам университета и студентов всеми силами и защищать последних во всех столкновениях с внешней полицией,—и нам осталось только ожидать от г. Делянова исполнения всех его прекрасных обещаний“.

Замечательно то, что обе стороны отлично расценивали подлинный смысл этого события, заключавшийся, конечно, не в чрезмерной вспыльчивости „прекрасного человека“ графа Шувалова, и не в том, что квартальные незаконно потянули в полицейский участок студента Рашевского. Необычайно важно было то, что и петербургские студенты в этом случае, как прежде того киевские и московские, выступили в качестве единого целого, сплоченной корпорации. Они это старались всячески подчеркнуть. Когда Делянов пытался обязать депутатов

честным словом, что они постараются успокоить студенчество,—они категорически отказались дать это слово на том основании, что они есть „только депутаты, соблюдающие интересы своего сословия".

Вот это-то огромное значение крепнувшего студенческого единства отлично учитывалось обеими сторонами. „Дело о студентах производит много шума, — писал Никитенко. — Жаль — это заставляет молодых людей придавать себе слишком много значения". А Модзалевский красноречиво объяснял, что главная цель Делянова, по его мнению, „разъединить студентов. Он—себе на уме—и нам надо быть себе на уме".

Очень скоро попечителю представился блестящий случай „послужить интересам университета и студентов". В конце того же 1858 года в Петербурге объявился частый в те времена его гость—красный петух. 14 декабря происходил пожар в 3-й линии Васильевского острова. Группа студентов, присутствовавших на пожаре, горячо содействовала спасанию имущества из квартир, находившихся в опасности. Это не понравилось солдатам и городовым, державшим цепь на пожарище. Двоим студентам солдаты нанесли удары прикладами. Возмущенные студенты вызвали офицера. Тот, не вступая в объяснения, закричал своей команде: „Ребята, что тут рассуждать? Исполняйте свою обязанность: валяйте их штыками и прикладами"... История, как видим, повторяется: пьяный окрик московского пристава отозвался в устах трезвого петербургского офицера императорской гвардии.

„Ободренные солдаты с азартом бросились исполнять приказание начальника, по нескольку человек на одного, и нанесли многим из нас сильные удары, более в грудь и плечи,—вспоминает один из постра-

давших. Работая ружьями и кулаками, солдаты произносили ругательства и ободряли друг друга: „Бей их, ребята, ничего не будет“. Подоспевший конный жандарм предлагал пустить в дело нагайки против беззащитной группы студентов, из которых ни один не защищался. Нас гнали шагов на 20 от цепи и некоторых прижали к воротам и стенам соседнего дома“.

Возобновились еще более бурные университетские сходки. Ректор П. А. Плетнев совершенно растерялся и умыл руки в этом деле. Студенты снова обратились к попечителю с требованием защиты от полиции и солдат. Видимо, Делянов несколько своеобразно толковал данное им обещание всеми мерами защищать вверенную его попечению университетскую молодежь от полицейского произвола. Он откликнулся проектом, который, в обеспечение студентов от посягательств общей полиции, отдавал их в полное распоряжение этой последней. Достигнуть этого было очень просто — уничтожением формы и связанных с нею преимуществ. Проект с поистине гениальным цинизмом разрубал Гордиев узел. Но эта беспардонная откровенность спугнула даже воспитанников николаевской школы. Никитенко, признавая, что, „конечно, это облегчит университет“, все-таки ужасался тому, что „с другой стороны—это уже совершено предаст бедных юношей во власть нашей грубой полиции“.

„Бедные юноши“ и на сей раз держались весьма единодушно и добились назначения следственной комиссии, которой не оставалось ничего иного, как оправдать студентов и признать, что единственным виновником столкновения был офицер.

Напряженность университетской жизни, с одной стороны, и осознание студенчеством своего единства, с другой, не были ни в какой мере монопо-

лией одних только столичных университетов. Пульс студенческой жизни бился равно учащенно во всех высших учебных заведениях. Так, в Харькове еще, кажется, в 1857 г. едва не вспыхнуло первое серьезное столкновение студенчества с университетским начальством на почве распространившихся слухов о введении вновь экзерциций и военных наук. По свидетельству современника, „волнение удалось предотвратить лишь удалением его причин, т. е. отменою строя“.

В следующем 1858 году в Харьковском университете разыгралось несравненно более серьезное волнение, хотя повод к нему был совсем уж незначительный, пожалуй еще ничтожнее Бринкеновской собачонки. Двое студентов ночью пробрались к молоденьким горничным одного харьковского вельможи. Потревоженная шумом прислуга, повидимому, приняла их за грабителей. Выскочивший из своей опочивальни хозяин, конечно, не мог впасть в подобное заблуждение, но он, очевидно, имел свой взгляд на студенчество и потому не умерял агрессивных намерений своих домочадцев. Произошла потасовка, в которой досталось, кажется, и самому вельможе. Не успел он еще оправиться от переполоха и синяков, как двое „крамольных“ студентов были исключены из университета и с жандармами отправлены на родину.

В университете сразу все пришло в движение. Несоответствие „преступления“ и наказания,[1] новое дикое проявление правительственного произвола—глубоко возмутили студенчество и призвали к единодушному решительному протесту. Следует сказать, что руководящая роль в событиях принадле-

---

[1] Что приписывалось родству побитого вельможи с харьковским губернатором.

жала Муравскому и членам его кружка, Бекману и Левченко. Они пытались принудить университеское начальство выступить на защиту сосланных студентов. Но если, как мы видели, студенчество во всех университетах было одинаково, то и начальство его не уступало друг другу в полном пренебрежении к интересам вверенной ему молодежи. Предоставленное самому себе студенчество приняло свои меры.

Аудитории моментально опустели и так основательно, что лекции пришлось совершенно прекратить. Начались бурные сходки, и в результате огромная масса студентов (по одним сведениям—около 140, по другим—около 280 человек), в виде протеста, подала прошение об увольнеоии. Попечитель прежде всего озаботился высылкой из Харькова „беспокойных студентов". Муравский и его товарищи отправлены были в Киев. Всего пострадало тринадцать человек. Обезглавив, таким образом, студенческое движение, университетское начальство с большим трудом погасило беспорядки.

18 сентября Харьковский университет удостоился „августейшего" посещения. Император был информирован о студенческих событиях в надлежащем освещении воспитателем наследника Н. В. Зиновьевым, братом Харьковского попечителя. Может быть ему не понравилось и то, что при его посещениях университетов каждый из них напоминал едва умолкнувшее бранное поле. „Высочайшей милости", проявленной в Киевском университете, уже не достало на Харьков. Император очень холодно обошелся как с профессорами, так и со студентами, отметил свое неудовольствие университетами в последнее время и в заключение „высочайше повелеть соизволил" посадить двоих студентов под арест за то, что они не по форме ему поклонились.

Должно признать, что, конечно, у Александра имелись свои основания к недовольству высшими учебными заведениями. Университеты в те годы несколько напоминали едва замиренные провинции, в которых чисто внешний порядок поддерживался штыками, и которые держали в постоянном напряжении местную власть и центральное правительство. Активное настроение студенческой молодежи внешне проявлялось не только в описанных формах. Писарев справедливо называл новых студентов „хозяевами университета". Они таковыми себя и чувствовали: соответственно с этим сознанием они себя и держали. Студенчество вело напряженную и непримиримую войну со всеми реакционными, отсталыми или попросту безграмотными профессорами. Война эта велась „с переменным успехом", но систематически и настойчиво.

Так как все эти столкновения студенчества с профессорами в основных своих чертах сходны между собою, то, чтобы не повторяться, я остановлюсь подробно на одной только, так наз. „Варнековской истории" в Московском университете в 1858 году.

„Варнековской" она называлась по имени профессора сравнительной анатомии и физиологии, Н. А. Варнека. Неплохой ученый, он совершенно непригоден был к роли педагога, особенно для первокурсников (а I курс медицинского факультета в этом году насчитывал до 250 человек), лекции свои строил бессистемно и невразумительно, совершенно не считаясь с познаниями слушателей.[1] Помимо того, Варнек имел непреодолимую склонность к глумлению над студентами, о чем с возмущением пове-

---

[1] Ниже мы встретимся с подобным же случаем в истории Казанского университета, где аналогичная манера преподавания проф. Больцани послужила предлогом к волнениям 1861 года.

ствовали многочисленные второгодники, всецело ему обязанные этим званием.

Попытки студентов объясниться с профессором, доказать ему необходимость вести систематический курс и дать пособия ни к чему не привели. Варнек резко отказался считаться с пожеланиями своих слушателей. Не большим успехом увенчались и переговоры с деканом факультета. Легальные пути, таким образом, были исчерпаны, и приходилось прибегнуть к иным средствам. Впрочем, должно оговориться. Сущность дела заключалась, конечно, далеко не в одних достоинствах и недостатках Варнека. Случай этот принял сразу же принципиальный, общестуденческий характер, поскольку он отражал в себе ту систему, при которой подобные явления только и оказывались возможными. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в Варнековской истории приняли единодушное участие не одни медики, а весь университет, не исключая юристов и филологов.

В саду и в аудиториях старого университета стали собираться сходки. Решено было прибегнуть к последнему средству: устроить Варнеку обструкцию и таким путем вынудить его к оставлению кафедры. В условленный день в аудитории собрались представители всех факультетов. Едва профессор взошел на кафедру, намереваясь приступить к чтению лекции, как раздался дружный свист. Лекция была сорвана. Аудитория опустела.

Вскоре после того вывешено было объявление о закрытии курса, а еще несколько времени спустя у первокурсников начали отбирать подписку о согласии или отказе слушать лекции освистанного профессора. Вызывали их для сего в инспекторскую канцелярию, в разное время и по одиночке. Один наивный малый не утерпел и полюбопытствовал:

почему не собрать сразу всех заинтересованных студентов и не опросить их вместе? „Где вы воспитывались?“—спросил инспектор, пораженный недальновидностью собеседника.—„В семинарии“.—„Ну, это и видно сейчас“.

Университетское начальство воспитывалось не в семинариях. Расчет оказался на первых порах безупречно верен. Разобщенные таким путем неопытные юноши терялись в этой обстановке тайного судилища и выражали готовность слушать ненавистного профессора. Но за стенами инспекторской канцелярии их ожидала студенческая корпорация,—старшекурсники, студенты других факультетов, коллектив. Короче говоря, в назначенный день новая лекция Варнека опять не могла состояться. Собралось огромное множество университетской молодежи, но аудитория наполнялась преимущественно студентами других факультетов, между тем как медики толпились в коридоре. После краткого совещания, они избрали депутатом к Варнеку студента А. Ф. Жохова. Явившись к профессору, Жохов сказал ему от лица своих товарищей: „Г. професор, сегодня мы вас не слушали и положили впредь не переступать порога той аудитории, где будете преподавать вы. Мы просим вас дать нам возможность иметь другого профессора“.

Дело было ясно. Университетское начальство имело случай убедиться в том, что ему не отделаться отобранием подписок. Тогда наряжено было следствие, результатом которого явилось исключение целого ряда студентов с правом поступления через год, а избранных—с волчьим билетом. При этом академический совет, по старорусскому обычаю, не очень гонялся за соблюдением хотя бы внешних форм судопроизводства. Герцен, на основании писем своих московских корреспондентов, сообщал, что „ученое начальство,

оскорбленное в своем учено-полицейском достоинстве, решилось сломить волю крамольных студентов и начало свои действия исключением Жохова, объявив, что он исключен за неблагонамеренные стихи по высочайшему повелению покойного императора, воля которого не была до сих пор выполнена, оттого что попечитель Назимов протежировал Жохову, а попечитель Ковалевский как-то забыл о нем...“ Вместе со студентами вынужден был оставить университет и сам Варнек. Он почел за благо дать забыть о себе и удалился в Тверь—директором гимназии.

Но дело, конечно, не в судьбе Варнека, а в том настроении, которым было проникнуто в это время московское студенчество. Московский генерал-губернатор Закревский писал шефу жандармов 5 декабря 1858 года: „Ковалевский решил вчера наконец дело студентов. Главные виновники исключены, а менее виновные уволены... Беспорядок, начавшийся на I курсе медицинского факультета, распространился по всему университету... Зная секретным образом о направлении и идеях, какие волнуют теперь студентов, я сообщил Ковалевскому эти сведения.—В последнее время студенты начали издавать про себя рукописные газеты: „Звонок“, „Живой Голос“ и „Искра“. Посылаю тебе дошедшие до меня номера этих 3 газет и записку студентов о необходимости преобразований в университете. Из этих бумаг, переданных мною и Ковалевскому, ты увидишь, что зло пустило уже корни“.

Обилие этих рукописных газет (мне известны еще две: „Эхо“ и „Последний Звук“) [1] было далеко не случайным. Газеты отражали различные течения,

---

[1] См. в приложениях: „Литература студенческих волнений“.

существовавшие в студенческом движении. Уже намечалось начало социальной дифференциации университетской молодежи. Об этом мне придется еще говорить подробнее при описании событий 1861 года, когда дифференциация эта проявилась со всей резкостью. Но этот социальный отбор начался именно в 1858 году, когда „аристократическая челядь" (выражение „Искры") оказалась естественным образом выброшенной за борт движения.

Наиболее демократическая разночинная часть студенчества, занявшая левый фланг в движении, уже сознавала эту дифференциацию и стремилась подчеркнуть свою социальную обособленность. „Шпионы", „клеветники", „аристократическая челядь" — таковы их эпитеты по адресу дворянской университетской верхушки, конечно с первых же шагов изменившей общему делу.

„Спросите у Урусова и Трубецкого,—пишет „Свой Звонок",—пусть они вам расскажут, как они перешли на второй курс, спросите, как они экзаменовались у Орнатского и как ратовал за их незнание декан Баршев. И вы не удивитесь после того, что они стоят горой за все начальствующее. Зачем им бороться против него, когда они и „не на войне, а в мире брали лбом". Нам нужно общественное мнение, а для этого требуется полная гласность. Итак, предавайте же всех неблагонамеренных людей суду всего университета, пусть они предстанут во всей наготе со своими низкими поступками. Пусть знают все, что Голицыны, Урусовы, Трубецкие, Щербатовы и прочие суть те фискалы, те дурные плевелы, которые растут во вред всему доброму и хорошему, что они глушат и не дают развиваться честной добросовестности. Как же мы можем терпеть в своем кругу подобных людей? „Кто не за нас,—тот против нас",

Но и за вычетом этой аристократической надслойки все остальное студенчество раскололось на две части. Более умеренное течение, повидимому, стремилось в это время еще только к академическим реформам, тогда как радикальная часть студенчества, объединявшая наиболее демократические элементы его, уже выходила далеко за пределы чисто академических интересов и шла вровень с настроением авангарда русской демократической интеллигенции.

„Разве мы из-за одного Варнека затеяли такую историю! — восклицает „Искра“ — разве из-за него одного мы так громко взывали о помощи к целому университету? В таком случае игра не стоила бы свеч“. Под впечатлением возмутительной расправы с исключенными товарищами радикальное студенчество считало необходимым, в первую очередь, добиться студенческого суда и права депутаций.

„Нам возразят, что суд и депутатство — все это вещи второстепенные, что мы поступили в университет не для того, чтобы быть депутатами и иметь правильный суд, и пр... Но разве кто-нибудь осмелится упрекнуть нас за то, что мы по приезде в Москву, прежде чем отправиться на лекции, сначала озаботились приисканием себе квартиры и стола? А гарантия личности от произвола старших для нас такая же экономическая потребность, как и голод; удовлетворение ее не терпит ни малейшего отлагательства. Пусть скажет каждый по совести: разве можно спокойно слушать профессора, когда не знаешь, где будешь завтра, опять ли на лекции, или на перекладной в сопровождении жандармов?“

Малейшее отступление, малейшая уступка со стороны студенчества — есть ренегатство в худшем смысле слова, есть измена общему делу, которое необходимо довести до конца. „Всякое колебание

в такую минуту бесчестно. О перемирии с начальством нам нельзя и думать...“ Более того. В понимании радикального студенчества университетская молодежь и начальство представляли собою два лагеря, резко враждебных друг другу. „Кто вглядывался в наши общественные дела, кто следил за действиями нашего начальства, тот мог легко заметить, что оно всячески старалось останавливать наше развитие. Доказательством высказанной мысли служат стеснительные статьи, удержанные нашим начальством, разумеется с целью иметь средства подавлять в нас каждое справедливое проявление личной свободы.

Итак, рассчитывать на наше начальство было бы ребячеством с нашей стороны. Предполагать, подобно дедам, что правительство наитием св. духа угадает наши потребности, — мы не могли. Вера в византийское учение о божественном происхождении верховной власти и вообще всех властей — миновала для нас невозвратно. Остается обратиться к своим собственным силам“.

Таким образом, университетский авангард уже совершенно сознательно ставил себя в резкое противоречие не только с университетским начальством, но и с правительством, призывая студенчество к активной борьбе. В свете этих настроений особенно симптоматичен, особенно показателен эпиграф „Искры“, заимствованный из герценовского „Колокола“: „Лучше революция сверху, чем революция снизу, но в тысячу раз лучше революция снизу, чем постыдный сон“. Это была наивысшая точка, до которой могла подняться демократическая интеллигенция того времени. [1]

---

[1] Следует отметить еще, что на страницах этих нелегальных студенческих листков часто появлялись проникавшие из заграницы и ходившие по рукам запрещенные стихи, напр., „Искандеру“ Н. Огарева и др.

Говоря о московском студенчестве конца 50-х годов, я намеренно обременил посвященные этому страницы пространными цитатами. Мне кажется, что само студенчество до такой степени отчетливо и ярко формулировало, как свои настроения и требования, так и намеченную линию поведения, что автор едва ли еще чем-нибудь может дополнить эту декларацию.

Те же социальные и политические процессы, в разной мере и с разной постепенностью, происходили и в других русских университетах. Варьировались непосредственные толчки к брожению, видоизменялись формы протеста. Но все эти „студенческие истории“, как их тогда называли, характеризовались, хотя и не в одинаковой степени, тем, что студенчество, отталкиваясь от чисто академических внутриуниверситетских нужд и интересов, уже начинало проникаться тревожным настроением тогдашней передовой народнической интеллигенции. И всюду этому новому направлению сопутствовало, опять-таки по разному проявлявшееся и по разному осознаваемое социальное расслоение студенчества.

В заключение хочется еще остановиться на истории Казанского университета, конца 50-х годов, где все эти сложные внутренние процессы проявились в наиболее отчетливом, конденсированном виде. В Казани студенчество вело упорную, систематическую борьбу и с внутренними распорядками, и с отсталой профессурой, и, наконец, за право своего участия в гражданской жизни страны. При современной скудости источников, очень трудно выяснить, почему именно казанское студенчество оказалось в эти годы на передовых позициях, почему, тогда как в других университетах развитие шло скачками, чисто спорадически, в Казани оно при-

няло столь стройный характер, представляя собой неразрывную цепь событий, где каждое последующее явление непреложно и логически вытекало из предшествующего.

Вероятнее всего — это все должно отнести за счет сравнительно большей демократизации состава казанского студенчества. Об этом говорят и историки Казанского университета. Количество студентов в эти годы возросло чуть ли не вдвое, и почти исключительно путем притока разночинных элементов. Самый же демократический состав казанского студенчества должен был объясняться характером тех губерний, которые Казанский университет обслуживал.

Современник, студент А. А. Бирюков, сам представитель разночинной, мелкой буржуазной интеллигенции, впоследствии ставший „литературным поденщиком“, вспоминал: „Начало нового направления в Казанском университете и студенческих движений нужно отнести к 1858 г., когда уничтожена была в университете бурса и студенты-стипендиаты, получая деньги, 12 р. на руки, поместились в частных квартирах. Уже эта одна либеральная мера правительства заставила студентов оглянуться на самих себя, причем им казалось, что они и в самом деле — не дети или мальчишки, которых нельзя выпустить из-под опеки, а люди как люди, которые могут жить и действовать самостоятельно“.

Дело было, конечно, далеко не столь экономически просто, как представлял его себе старый студент. Мол, дали студентам по 12 целковых на руки, и они сразу почувствовали себя взрослыми и предъявили свои права. Но объяснение Бирюкова имеет тот резон, что этой „либеральной мерой“ правительство, как ни как, делало ставку на низшие слои

студенчества, на „пролетариат быта“, по выражению М. Н. Покровского. И „пролетарии быта“ эту ставку приняли.

Начало 1858 г. ознаменовалось довольно необычайной в летописях студенческого движения „историей“ с профессором физиологии В. Ф. Берви (отцом известного Берви-Флеровского). „Необычайной“ эта история была по той форме, в которую вылился студенческий протест, и тем мерам, которые приняло начальство. Борьба еще только начиналась, и студенчество и начальство еще мерялись оружием.

После рождественских каникул Берви получил подписанное 70 студентами старших курсов письмо следующего содержания: „Господин профессор. Всем нам известна ваша продолжительная служба Казанскому университету, за которую мы, все студенты медицинского факультета, душевно вас благодарим; вместе с тем, принимая во внимание ваши преклонные лета и вашу слабость, просим вас, для общей нашей пользы, сложить с себя эту тяжелую обязанность, которая становится еще тяжелее нынче, во время быстрого развития науки, требующего сил свежих и молодых. Извините нас, профессор, что заговорили об этом мы первые — любовь к науке и желание быть полезными обществу заставляют нас поспешить. Да и вы, вероятно, уже убеждены в настоящее время сами, что остаток ваших драгоценных лет приличнее провести в мирном семейном кругу... Надеемся, что справедливый голос не оскорбит и найдет с вашей стороны полную и скорую готовность помочь общей пользе.“

Надо отдать справедливость дипломатическому такту казанских студентов: кажется нельзя было деликатнее выразить свое пожелание, вызванное исключительной, даже по тем временам, научной от-

сталостью Берви. Ученые отзывались о нем откровеннее. Так, Н. О. Ковалевский писал: „Время величайшего напряжения в развитии экспериментального направления в физиологии Зап. Европы прошло для Берви бесплодно... Из-за этого направления ему чудилось только пугало материализма. И вот, по мере того как физиология приобретала на Западе все более и более характер опытной науки, Берви на своей кафедре становился все более и более метафизичным".

Но старый профессор боялся не одного материализма. Не менее того, кажется, трепетал он перед студенчеством. Он поспешил прекратить чтение лекций, вверив судьбу свою университетскому начальству. А последнее, не долго размышляя, приказало студентам просить у Берви прощения. Студенты согласились, однако с задней мыслью. Извинение приносилось в актовом зале, в торжественной обстановке. Присутствовал весь медицинский факультет. Студенты извинились за свой „неуместный поступок". Ректор, деканы, профессора — все были довольны. „В таком случае я начну читать лекции", торжественно сказал Берви. „На это мы не согласны", возразили студенты.

Торжество кончилось, уступив место следствию. Замечательно, что все допрашиваемые студенты заявляли, что считают и впредь возможным прибегать к подобным средствам. Вероятно следствие закончилось бы далеко не столь благополучно для студентов, если бы Берви занимался только чтением лекций. Но он имел неосторожность, около этого же времени, выпустить безграмотную книгу „Физиологически-психологический сравнительный взгляд на начало и конец жизни", составленную из лекций о бессмертии души и магнетизме. И опять-таки, если бы не вышло у Берви столкновения со студентами,

вряд ли кто-нибудь обратил вниманне на этот научный вздор. В данных же условиях появление названной книги дало Добролюбову желанный предлог выступить в защиту студентов. Он поместил в „Современнике“ уничтожающую рецензию, заканчивавшуюся словами: „Г. Берви уже потому не заслуживает сожаления, что, несмотря на свою отсталость в науке и невероятные поступки против здравого смысла, обладает невозмутимым самодовольствием“. Добролюбов выражал соболезнование студентам, „тем более, что они, во что бы то ни стало, непременно обязаны слушать г. Берви как своего профессора“.

Книга „Современника“ вышла в самый разгар следственных изысканий. Время, общественное мнение, обстоятельства — решили вопрос. Министр вынужден был обратиться к ректору с предложением повторить студентам „об исполнении их обязанностей по отношению к их наставникам“, присовокупляя, что на сей раз правительство ограничивается этой мерой, надеясь, что студенты оценят делаемое им снисхождение. Берви же рекомендовано было последовать совету студентов, что он и исполнил: вышел в отставку и уехал в деревню.

А казанские студенты на министерское милосердие ответили вопиющей неблагодарностью. После удачного опыта с Берви они в следующем 1859 году весьма быстро и решительно расправились с профессором всеобщей истории Ведровым, о котором И. А. Худяков вспоминал, что „лекции свои он составлял до того бестолково и бессвязно, что иногда даже трудно было понять их“.

Вслед за тем разыгралась „история“ несравненно более серьезная. В начале 1859/60 уч. года студентам было „высочайше“ запрещено в аудиториях выражать одобрение или порицание профессорам. За-

прещение, конечно, имело в виду, по существу, последнее, т. е. порицание. Но как раз именно в этом году, впервые за последние годы, студенты пожелали публично выразить свою благодарность профессору. На этой почве разыгрался конфликт, носивший явно демонстративный характер. В этом году кафедру всеобщей и русской литературы занял проф. Н. Н. Булич, возвратившийся из-заграничной командировки. Булич внес новую струю в университетское преподавание, придав своим лекциям либеральный характер. Правда, „либерализм„ этот был весьма умеренный, да к тому же и чужой, заимствованный. Правда и то, что когда Буличу вскоре пришлось пожинать плоды своего либеральничания, неизбежные в полицейском государстве, он постыдно дезертировал, предал студентов и вернулся в спасительное лоно самодержавия. Но тогда студенчество еще не знало его с этой стороны. А идеи, возвещавшиеся им с высоты университетской кафедры, как ни как были все-таки идеями передовыми, живыми, проникнутыми мотивами общественности и крепнувшего материализма. Вскоре Булич сделался апостолом неизбалованных филологов, а следом за ними и студенты других факультетов стали тесниться в его аудитории, покрывая лекции Булича аплодисментами. Правительство отлично поняло смысл этих оваций. Студенчество, воспринимая либеральное кокетничание Булича сквозь призму своих настроений, приветствовало в его лекциях проповедь чуть ли не революции и атеизма. Аплодисменты были „высочайше“ запрещены. Студенты продолжали аплодировать, вопреки высочайшему повелению.

Дело разбиралось в специальной комиссии под председательством попечителя, в составе ректора, инспектора, деканов и синдика. Восемнадцать сту-

дентов, признанные наиболее виновными, приговорены к исключению из университета и высылке из Казани, в случае отсутствия у них там родителей. На следующий день после приговора по университету распространились рукописные воззвания и сильные стихи,[1] призывавшие студенчество к активному протесту:

Студенты! Был неправый суд,
Достойный мести и проклятий.
Теперь с жандармами везут,
Как арестантов, наших братий...
. . . . . .
Кто в состояньи перенесть
Такое дикое гоненье,
В том умерла навеки честь,
Тот стоит общего презренья.
Идем же дружною толпой,
Друзья, покинуть эти стены,
Где подлость давит нас пятой,
Где дух шпионства и измены.

Этот страстный призыв встретил в студенчестве горячий отклик. В первые же два дня после приговора к ректору поступило 137 прошений об увольнении, мотивированных дурным влиянием казанского климата, либо „домашними обстоятельствами". Аудитории опустели, лекции прекратились. Правительство приняло свои меры к удержанию студентов, грозя всевозможными карами и репрессиями. В этом первом столкновении с жестокой действительностью уже проявились различия классовой психики. Привилегированное студенчество дрогнуло и обратилось в бегство.

Братья, толпою,
С плачем, мольбою
К ректору по-двое в ряд.
Просьбы назад,
Просьбы назад!..
. . . . . .

[1] См. приложения.

Кто пожелает,
Пусть пропадает,
Нам он не друг и не брат...
Честность — химера,
Тут, ведь, карьера
Может пропасть, говорят...

Передовое, разночинное студенчество зло клеймило ренегатов, но общий протест был сорван и бой проигран. Тем не менее, несмотря даже на этот внутренний раскол, студенчество не прекращало своей санитарной работы по очистке университета, продолжая сплошь и рядом с успехом изгонять безграмотных профессоров.[1]

Наряду с этим казанское студенчество упорно и настойчиво вело борьбу со старыми внутренними университетскими правилами. Борьба продолжалась из года в год, изо дня в день. И еще более страстно и настойчиво начинало студенчество рваться за стены аудиторий, в водоворот бурлящей общественной жизни, Я уже говорил, что демократизация содействовала ускорению политического созревания студенчества. И, постепенно осознавая свою политическую и гражданскую зрелость, оно претендовало на свою долю действенного, живого участия в политической жизни.

По свидетельству современника, казанское студенчество „все больше и больше укреплялось в своей вражде не к одним старым порядкам, а к настоящему правительству и даже к тем, которые относились к нему без вражды и озлобления".

---

[1] Так, в следующем году изгнаны были: профессор римской литературы Струве и следом за ним Шарбе, читавший немецкий язык и литературу.

НОВЫЙ ПОХОД РЕАКЦИИ

„Хотя размеры связанного с этими беспорядками зла раскрывались для правительства очень медленно и мало-по-малу, тем не менее нельзя сказать, чтобы и с самого начала оно относилось к этому злу совершенно равнодушно“. Так повествует официозное изложение событий этих бурных лет. И, вопреки общепринятому убеждению, что официозы всегда лгут, в этом случае истина нисколько не искажалась. За всяким растегнутым крючком, за всякой стычкой студенчества с полицией — правительство усматривало жестокую опасность. Она и точно была совершенно очевидна: университет грозил ускользнуть из цепких лап самодержавия. Он переставал быть фабрикой коллежских асессоров и титулярных советников. С некоторых пор студенчество начинало сознавать, что при современных условиях несравненно почетнее носить кандалы на ногах, нежели „владимира“ на шее.

Тревога правительства, в меру сил и возможностей, усугублялась полицейскими властями, от низших до самых высших, которым поперек горла стояла студенческая „неприкосновенность“, и которые самую незначительную университетскую историю обращали в „потрясение основ“ и в „бунт против существующего строя“. Им вторили реакционные попечители, всячески доказывавшие необходи-

мость „вразумления“ молодежи новыми крутыми мерами.

Правительство легко поддавалось подобным внушениям, постепенно соскальзывая в старую проторенную колею николаевских гонений. Открывалась новая эра притеснений университетов. Она началась, собственно говоря, еще в 1858 г. помянутым выше высочайшим постановлением, запрещавшим студентам выражать в той или иной форме свое одобрение либо порицание профессорам. Наряду с этим названное распоряжение весьма недвусмысленно напоминало, что „законы наши строго воспрещают всякого рода сборища и демонстрации, а потому, если студенты, не вняв сему предостережению, окажутся виновными в каком-либо из означенных проступков, то немедленно будут исключены из университета, несмотря на то, какое бы ни было число виновных“.

Около этого же времени — как выше было сказано — у петербургского попечителя родилась благодетельная мысль о подчинении студентов общей полиции. Тогда правительство еще постеснялось. Никитенко шумно вздыхал о „бедных юношах“, впрочем принципиально горячо приветствуя эту меру. Но так как „бедные юноши“ не унимались и не проявляли поползновений „внять предостережению“, правительство нашло необходимым уже в следующем году вспомнить деляновский совет.

6 мая 1859 г. состоялось высочайшее повеление о подчинении студентов вне университетских зданий полицейским установлениям и надзору полиции на общих основаниях. Очень скоро это показалось недостаточным. Новое высочайшее повеление от 14 января 1860 г. „разъясняло“, что надзор общей полиции не избавляет студентов от подчинения и вне зданий университета надзору университетского

начальства. При этом полиция обязывалась доносить университетскому начальству, а это последнее — полиции, обо всех проступках студентов и их намерениях, клонящихся к нарушению общественного порядка. Таким образом, студенчество попадало под перекрестный огонь доносительства и шпионства.

Тогда же возрастной ценз для приема в университеты был поднят с 16 до 18 лет. Московский университет, стремясь завоевать первенство, вырабатывал новые замечательные правила для студентов. Правила эти, наряду с запрещением „студенческих сходбищ", публичных речей и пр., требовали ежегодного говения и причащения, воспрещали курение в университетской зоне, ношение усов, бород, эспаньолок, длинных волос и т. д. Даже трости в руках студентов Московский университет толковал как „потрясение основ".

Правила эти, если их рассматривать в целом, замечательны полным отсутствием пунктов, обеспечивающих права студентов. Если же разбирать их в отдельности, то особо символичное значение приобретает требование внесения полугодовой платы вперед.

Это, конечно, была уже смелая и откровенная вылазка против разночинного демократического студенчества, тогда еще, когда само правительство жантильничало и наносило такие удары исподтишка, так сказать, из-за угла. Но и исподтишка эти удары били весьма метко. Та же цель достигалась созданием специальных приемных комиссий, выработкой жестких правил, которые на приемных экзаменах легко, как жерло пушки, оборачивались против нежелательных кандидатов. Герцен еще в 1859 г. писал: „Из 375 молодых людей, державших экзамен для поступления в Петербургский университет, приняты

73 человека.[1] Что это? Просто безумие и глупость или иезуитский план, имеющий целью исподтишка возвратиться в педантском костюме к тупой, но откровенной николаевской войне против университетов? Кто экзаменует? Жандармы или профессора?“

Это было не безумие, а строго рассчитанный план. В 1860 г. начался поход на министра народного просвещения Е. П. Ковалевского, последовательного противника крутых мер в деле народного образования. Комиссия для рассмотрения отчета по министерству за 1859 г. составлена была из виднейших представителей воинствующей реакции. И, конечно, комиссия жестоко обрушилась на все университетские завоевания, находя, что „между студентами распространяются начала, вовсе не свойственные нашему образу правления, могущие вредно действовать на их умы“, что „как ни сильно общественное влияние,[2] однакоже необходимо решительными и рациональными мерами оградить молодых людей от соблазнов, вредных для их умственного и нравственного развития“.

Таким образом, реакция уже покидала подполье, и начинала говорить старым николаевским языком. Предчувствуя приближение грозы, петербургская передовая профессура, во главе с Кавелиным и Спасовичем, пыталась найти компромиссный выход, выработав проект новых правил о студенческих сходках и корпоративном строе. Этот проект представлял собой типичное парниковое растение, выращенное либеральной мыслью шестидесятых го-

---

[1] В том же году из 500 человек, экзаменовавшихся в Московском университете, принято всего 152.

[2] На первое обвинение Ковалевский отвечал, что брожение умов существует почти везде и „не принадлежа одному сословию студентов, идет не от них к обществу, а обратно“.

дов, и по тому самому никуда не годился. Какими-то плохо разочтенными дозами, проект пытался удовлетворить и реакционную клику, и одновременно ответить запросам радикального студенчества. Само-собой, что, будь проект даже осуществлен, он не удовлетворил бы ни ту, ни другую сторону. [1]

Но воинствующая реакция уже не могла удовлетворяться сладенькими либеральными паллиативами. Она настойчиво и с высоко поднятой головой шла вперед, сокрушая все препятствия на своем пути.

V

Начало 1861 года ознаменовалось волнениями в Петербургском университете. 8 февраля, на акте, Костомаров должен был читать речь, посвященную Конст. Аксакову. Университетское начальство, ожидавшее в этот день студенческих беспорядков, спешило разделаться с торжеством и потому отменило речь Костомарова, ограничившись прочтением одного официального отчета. „По окончании

---

[1] Вот что писал об этом проекте один из главных творцов его, В. Д. Спасович: „Главные черты проекта заключались в следующем. Общая сходка под председательством избираемого на один год профессора, обсуждающая дела, касающиеся общества студентов, и выбирающая должностных лиц по студенческому самоуправлению. Тот же профессор председательствует в комитете из пяти выборных студентов, заведующего кассою, библиотекою, изданием „Сборника“... Всякие иные сходки строго запрещены... Подробный уголовный устав грозил строгими взысканиями за всякие попытки не-университетской агитации. Весь план предполагаемого устройства рассчитан был на то, что его вынесет на своих плечах масса, состоящая из молодых людей средних, умеренных, более пассивных, нежели активных, натуры же горячие, порывистые придется обуздать сильными домашними мерами, не прибегая к публичной власти; наконец, в виду новых порядков, они и сами оставили бы университет“.

акта, — вспоминал Никитенко, — в зале вдруг раздались крики: „Речь, речь Костомарова!“ Крики сопровождались топаньем, стучаньем и скоро превратились в дикий рев. Начальство скрылось. Один инспектор, как тень, бродил по корридору“. С трудом удалось ректору, П. А. Плетневу, водворить порядок обещанием, что речь Костомарова непременно будет прочтена в ближайшем будущем. Но одновременно, за подписью ректора же, появилось объявление о том, что в случае повторения беспорядков будут исключаться из университета все студенты, присутствовавшие в данной аудитории. Весь февраль прошел в столкновениях студентов с властями предержащими, и, наконец, 1 марта эта накаленная атмосфера разрядилась уже ярко выраженным политическим выступлением, именно активным участием русских студентов в торжественной панихиде в католическом соборе по полякам, убитым в Варшаве при разгроме манифестации 13 февраля.

Вскоре после того в университете разнесся слух, что по поводу панихиды начинается следствие, к которому решено привлечь только поляков, игнорируя участие русских студентов. Тогда эти последние решили представить в следственную комиссию подписные листы, свидетельствующие об их участии в панихиде. Составлено было заявление следующего содержания: „Мы, нижеподписавшиеся, были 1 марта на реквиеме в память убитых в Варшаве, участвовали в пении национального польского гимна и потому просим считать нас равно ответственными со студентами из поляков“. Под этим заявлением подписалось около трехсот студентов, многие из которых вовсе даже не были на панихиде и действовали из чувства солидарности и протеста. „Помню,— рассказывает Пантелеев,— мой земляк Пернов просит

дать ему подписаться. — Да ведь вы же не были. — Все равно, пусть будет более подписей".

Попечитель Делянов, до которого дошли слухи об этой подготовляющейся новой вылазке студенчества, совершенно растерялся. Он поскакал в университет. Первый, на кого он натолкнулся, был студент Штакеншнейдер с подписным листом в руках. Произошла глупейшая сцена, в которой попечитель спасовал перед юным студентом. — „Покажите, что у вас за бумага, — сказал попечитель. — Нет, не покажу, — отвечал Штакеншнейдер. — Я вам говорю как попечитель, покажите! — Нет, не покажу. — Вы мне покажете, или должны будете оставить университет. — Нет, не покажу." — Делянову ничего иного не оставалось, как ретироваться. Но однажды попав в глупое положение, он уже не скоро смог из него выкарабкаться и долгое время настаивал на том, что ему и Штакеншнейдеру вдвоем тесно в университете, что или Штакеншнейдер будет исключен, или он оставит попечительство. Конечно, Штакеншнейдер, вместе с еще несколькими студентами, был уволен из университета, так что Делянов мог торжествовать победу.[1]

Вслед за тем, 17 марта, такая же панихида отслужена была в Москве во французской католической церкви. Но там дело не ограничилось пением гимна. По свидетельству профессорской „Исторической записки", студентами с паперти были произнесены „весьма неумеренные речи". В числе выступавших оказался, между прочим, упоминавшийся выше П. Г.

---

[1] Адриан Андреевич Штакеншнейдер, сын профессора Академии художеств, в том же году был принят обратно в университет и 5 октября арестован за деятельное участие в студенческих волнениях. Это, впрочем, не помешало ему впоследствии сотрудничать по юридическим вопросам в ультра-реакционных журналах.

Зайчневский, говоривший, что у русских и поляков есть общий враг — русское правительство. На следствии сам Зайчневский показывал: „Речь произнесена была по случаю происшедшей манифестации в Варшаве, окончившейся вследствие насильственного вмешательства русских войск. Составлена была мною и заключала в себе выражение сочувствия к идее, руководившей и в настоящее время руководящей поляками. Я сказал в ней еще, что наступило время доказать всем, что правительство и образованное и развитое меньшинство различно, что это последнее сочувствует самостоятельности Польши".

Наиболее яркое и смело выраженное политическое выступление студенчества в этом тревожном году произошло опять-таки в Казани. Связано оно было с известной Бездninской катастрофой. В связи с опубликованием манифеста 19 февраля 1861 г. в с. Бездне Спасского уезда Казанской губернии вспыхнуло крестьянское восстание на почве обманутых ожиданий полной воли. Волнение охватило соседние уезды, проникнув даже в Самарскую и Саратовскую губернии. Казанское дворянство пришло в панический ужас. Губернатор телеграфировал в Петербург, откуда был прислан флигель-адьютант Апраксин для усмирения бунтовщиков. Казанское дворянство устроило ему пышную встречу „и умоляло его поскорее и решительнее покончить дело с мятежниками". Апраксин не обманул чаяний своих доверителей. 13 апреля он зверски расстрелял безоружную толпу бездненских крестьян, оставив сотни убитых и раненых.

Дворянство праздновало спасение. Анонимный корреспондент „Колокола" (Н. П. Булич?) писал: „13 апреля Воскресенская улица в 1 ч. дня представляла вид необыкновенный. По ней катились коляски, дрожки и тарантасы с веселыми лицами

помещиков, едуших к губернатору. Только что получено было известие „о победе графа“. На 17 апреля, день расстрела руководителя восстания, Антона Петрова, назначен был торжественный обед, по подписке, в честь казанского триумфатора. Пропасть между интересами дворянства и мелкобуржуазной демократии обозначалась в этом случае с необычайной четкостью. В то время как казанские помещики устраивали подписку в честь титулованного палача, защитившего их земельные угодия от крестьянских притязаний, казанские студенты организовали между своими товарищами, учителями гимназий, профессорами и др. весьма успешную подписку в пользу осиротевших крестьянских семейств.

Но этого молодежи казалось мало. Обстоятельства требовали открытой демонстрации, и таковая была произведена. В тот же день, 17 апреля, назначена была на Арском кладбище торжественная панихида по погибшим крестьянам. „Накануне,— вспоминает один из участников панихиды,— в университете кто-то защищал диссертацию на доктора. Это был самый удобный случай передать друг другу о предполагавшейся демонстрации против дворянства и их героя на другой день.“ Таким образом, нет никаких сомнений в том, что сами организаторы панихиды придавали ей значение именно антидворянской демонстрации.

Есть указание на то, что в подготовке демонстрации принимал активное участие родоначальник материалистического понимания русской истории А. П. Щапов, речь которого на следующий день стала центральным моментом панихиды. Один из друзей Щапова сообщал, что он, узнав о бездninских событиях, говорил студентам: „Ну, вот вам и деятельность! Вы только собираетесь заводить по де-

ревням своих агентов, закупаете шрифты и достаете литографские станки, а жизнь-то бьет своим обычным ключом".

„В 4-м часу дня,— вспоминает участник Куртинской панихиды,— группы студентов шли по разным улицам за город по направлению к Куртину. Священник не соглашался служить панихиду, и потому нужно было отыскивать другого. Нашли. Отзвонили к вечерне. К студентам университета прибавились студенты духовной академии, к священнику еще прибавилось двое студентов — один священник, другой дьякон. Началась панихида. Дьякон, читая ектению, постоянно забывал данную ему инструкцию — молиться за невинно убиенных, и потому, когда он выпускал слово „невинно", ему со всех сторон подсказывали: „невинно", „неправильно" убиенных. Заупокойные молитвы пелись всеми присутствовавшими в церкви. После того как пропели вечную память, на амвон церкви взошел Щапов". Подлинник его речи до последнего времени не был известен. Сколько ни старались следственные органы, к каким ни прибегали они конспиративным уловкам, речь Щапова не удалось разыскать. Очевидно, устроители Куртинской панихиды имели не только организационный, но и революционно-конспиративный опыт. Только уже в наше время отыскали листок с речью Щапова, им самим записанной.

Щапов говорил: „...Вы, други, первые... пали искупительными жертвами деспотизма за давно ожидаемую всем народом свободу. Вы первые нарушили наш сон, разрушили своей инициативой наше несправедливое сомнение, будто народ наш не способен к инициативе политических движений . . Земля, которую вы возделывали, плодами которой питали нас, которую теперь желали приобрести

в собственность и которая приняла вас мучениками в свои недра, — эта земля воззовет народ к восстанию и свободе . . . Мир праху вашему и вечная историческая память вашему самоотверженному подвигу. Да здравствует демократическая конституция!"

В свидетельских показаниях участников панихиды ярко отразился подъем, с которым Щапов говорил свою речь, и тот энтузиазм, который она вызвала в полутысячной аудитории. После сего студенты большими группами стали расходиться.

Предстоящая панихида не оставалась совершенной тайной для полицейских властей. Еще до начала ее студенты заметили на куртине нескольких соглядатаев, которые были немедленно прогнаны. А на обратном пути демонстрантам попался навстречу полициймейстер на паре рысаков, с традиционным казаком позади. Студенты, шедшие сплошной толпой, встретили его смелой революционной песней, имевшей среди них широкое распространение:

Долго нас помещики душили . . . . .
. . . . . .
Помним мы о двадцать пятом годе:
В крещеном народе!
Поднялся в ту пору на злодеев
Кондратий Рылеев.
С ним полковник Пестель и другие
Бояре честные.. . .
Кабы мы тогда глупы не были, —
Теперь бы не тужили . . . .
Не сумели в те поры мы смело
Отстоять их дело . . . .

Началось длительное расследование. Оно, с первых же шагов, попыталось свалить главную долю вины на воспитанников духовной академии, благо и они принимали участие в панихиде. А с безответными поповичами и семинаристами несравненно легче

и беспардоннее можно было расправиться, нежели с универсантами, из которых многие принадлежали к „высшему сословию в государстве“. Вспомним, что и в Петербурге инициативу панихиды хотели свалить на поляков. Казанские студенты в этом случае поступили совершенно так же, как и их питерские товарищи. Они представили в Казанскую духовную академию следующее объяснение: „До нас дошли слухи, что инициатива панихиды, совершенной 17 апреля, приписана, преимущественно, студентам духовной академии. Мы же, нижеподписавшиеся, утверждаем, что она принадлежит студентам университета, равно как и переговоры с Куртинским священником и все распоряжения и расходы по этому случаю; вследствие сего мы считаем долгом заявить это правлению духовной академии“. Следовали подписи девяти студентов и многозначительный постскриптум: „Подписалось под этим объяснением так мало потому, что бо́льшая часть студентов, бывших на панихиде, разъехались на каникулы, а некоторые считают излишним подписываться теперь, думая, что их спросят после“.

Приходилось все перуны обрушить на воспитанников университета. Правительство еще полиберальничало. Девять студентов, подписавших помянутое заявление, были исключены из университета и высланы. В отношении прочих виновных дело оставлено „без последствий“. Что касается Щапова, то ему предложено было подать в отставку и выехать в Петербург, для занятий в Публичной библиотеке. Когда Щапов сел на пароход, ему объявили, что он арестован, и по прибытии в Петербург, Щапов, вместо Публичной библиотеки, был доставлен в III отделение.

„Милостивое“ решение участи куртинских демонстрантов отнюдь не свидетельствует о равнодушии власти предержащей к этому событию. Правитель-

ство уже держало за пазухой иной, более увесистый камень, готовый поразить студенчество несравненно тяжелее, нежели самые жестокие репрессии в отношении отдельных его представителей.

Эта смелая демонстрация вызвала в тех, против кого она была направлена, не меньшую тревогу, нежели самое бездninское восстание. Тот печальный факт, что демократическая интеллигенция вступала в резкий и открытый конфликт с правительством, усугублялся еще соображениями тактического свойства. В самом деле, протестующую учащуюся молодежь неудобно было расстреливать, на манер бездninских крестьян. Тут нельзя было обойтись каким-нибудь „героем, в казарме поседелым", украшенным вместо символической веревки палача флигель-адъютантским аксельбантом. Жестокий удар студенчеству и русским университетам подготовлялся исподволь, и не на „бранном поле", а в тиши канцелярий и кабинетов.

В апреле 1861 г., после куртинской панихиды, царь объявил Ковалевскому, что „такие беспорядки, какие ныне волнуют университеты, не могут быть долее терпимы и что он намерен приступить к решительной мере—закрыть некоторые университеты". Эта „решительная мера" до поры, до времени осталась неосуществленной, но в арсенале реакционной партии нашлось иное, не менее действенное средство. Александр назначил специальную комиссию из трех лиц для разбора записки о средствах к прекращению студенческих беспорядков, предложенной министром. В комиссию вошли трое из виднейших представителей воинствующей реакции. „Эти трое — писал Герцен, — составившие второе III отделение, назначенное исключительно против университетов и просвещенья: жандарм Долгоруков, экс-юстиция — Панин и экс-куратор Строганов".

Участь университетов, таким образом, была предрешена. В мае месяце комиссия выработала новые правила, ставившие университеты в положение, очень сходное с тем, из которого они так недавно вырвались. После утверждения этих правил Ковалевский подал в отставку. Власть светская, видимо, уже не доверяя собственному выбору, прибегла к власти духовной. По рекомендации московского митрополита Филарета министром народного просвещения был назначен гр. Е. В. Путятин, адмирал, бывший прежде того военно-морским агентом в Лондоне, человек, в высшей степени ограниченный и бездарный. В качестве попечителя ему придан был Г. И. Филиппсон, кавказский генерал, отличавшийся, правда, больше по хозяйственной части и совершенно неожиданно для самого себя сделанный, по выражению Герцена, „евнухом императорского просвещения“.

Просветительный путь их обоих оказался весьма кратким, но зато и ознаменовался блистательными событиями. Путятин сразу же проявил инициативу, не удовлетворившись майскими правилами и дополнив их рядом весьма существенных коррективов. В окончательной редакции правила эти в значительной мере, воскрешали николаевские традиции и совершенно сводили на-нет все университетские завоевания последних пяти лет. Новые правила изложены были в „матрикулах“, особых книжках, представлявших собой и билет для входа в университет, и удостоверение личности, и вид на жительство, и „формулярный список“ студента.

Совершенное запрещение студенческих сходок и уничтожение всяких зачатков корпоративного строя показались правительству недостаточной профилактической мерой против университетских волнений. Новые правила, прежде всего, обрушились всей

своей тяжестью на демократическую часть студенчества, в которой правительство, конечно не без оснований, видело главный будирующий фермент и основной источник университеских смут. Согласно параграфу 9-му пресловутых „путятинских" правил, разрешено было освобождать от платы только по двое студентов от каждой губернии, входившей в данный учебный округ. Для того чтобы судить о том, какой грозой явился этот параграф для демократического студенчества, достаточно сказать, что в Петербургском университете в 1859 году из общего числа 1019 студентов освобождено было от платы 659 человек, иначе говоря—около 65%.. Новые же правила предоставляли эту возможность только двенадцати лицам, т. е. немногим более, чем 1% всей массы студентов.

Легко представить впечатление, которое „путятинские правила" должны были произвести на студенчество, если даже консервативно-настроенная московская профессура почувствовала неловкость от 9-го параграфа.

Реакция переходила в решительное наступление на университеты и студенчество. 31 мая высочайше утвержденные правила разосланы были по учебным округам. Это совпало с каникулярным временем, и этим ограничилась публичность „путятинских правил". Как бы стесняясь собственной низости, правительство медлило предавать их гласности.

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ВОЛНЕНИЯ В ПЕТЕРБУРГЕ

Тревога, вызванная новым походом на университеты, проникла в среду петербургского студенчества чрезвычайно быстро. На каникулы 1861 г. студенты уже разъезжались наэлектризованные слухами о новых правилах. Слухи были поневоле туманными, неясными, ибо сущность этих новых правил оставалась в глубокой тайне. Чувствуя приближение грозы, студенчество досадливо и, пожалуй, даже легкомысленно отмахивалось от нее. Однажды осознав себя мощной общественной силой, оно верило в свою несокрушимость, верило, что карающая рука правительственной реакции не может посягнуть на завоеванные с таким трудом студенческие „вольности". „Возвратившись к концу августа в Петербург, — вспоминал один из участников событий, — мы увидели, что весь наш студенческий быт парализован до основания... Не трудно представить себе, до какой степени все это озадачило и взволновало и без того уже сильно возбужденную университетскую молодежь, нисколько не подготовленную к столь неожиданному и столь резкому перевороту".

Непосредственно вслед за открытием университета в студенческой среде составился негласный комитет, руководивший последующими событиями. Преобладало в нем решительное и действенное направление, возбуждавшее студенчество к борьбе всеми

возможными средствами с введением новых постановлений. Течение это имело в студенческой среде ярких и сильных руководителей. Наиболее выдающимся из них был, несомненно, Е. П. Михаэлис, брат жены Н. В. Шелгунова, по отзыву Боборыкина, „типичный выученик тогдашней эпохи, чистокровный „нигилист", пошедший в студенты из лицеистов,[1] совершенно „опростивший" себя вплоть до своего внешнего вида — при значительной, почти красивой наружности".

Революционная деятельность Михаэлиса не ограничивалась одной ролью трибуна университетской молодежи. Он был частым гостем Чернышевского; наряду с Шелгуновым, дарил его своим неограниченным доверием М. И. Михайлов. Доверие это простерлось до того, что, ища помощников в распространении прокламации „К молодому поколению", Михайлов и Шелгунов остановили свой выбор на этом двадцатилетнем юноше.

Выдающиеся способности, по отзывам современников, сочетались у Михаэлиса с неисчерпаемым запасом жизнерадостности и жизнеспособности; но основными чертами его характера были необыкновенная решительность, отвага и страстность, доходившая до самозабвения. „Михаэлис был замечательный юноша, — восклицает Шелгунов, — лучший из молодых людей, каких я только видел. Нет — больше! Таких я никогда уже больше не видел". Может быть отзыв этот несколько преувеличен, но для Шелгунова вполне естественно было так оценить Михаэлиса, являвшегося типичнейшим предста-

---

[1] Евгений Петрович Михаэлис родился в Петербурге в 1841 г. и образование свое начал в Александровском лицее. В 1861 г. он был студентом 3 курса естеств. отделен. физ.-мат. фак-та Спб. университета.

вителем демократической интеллигенции 60 годов, со всеми ее достоинствами и недостатками.

Не менее видную роль в среде университетской молодежи играл Н. И. Утин, брат профессора, впоследствии выдающийся революционер, [1] — тогда столь же горячий и страстный юноша, каким был и Михаэлис. К числу руководителей движения должно еще отнести М. П. Покровского, близкого к кружку „Современника“, и Н. А. Неклюдова, про которого Боборыкин вспоминал, что он „смотрел кандидатом в пансионеры Петропавловской крепости. [2] В нем температура его „разрывных“ взглядов и стремлений сказывалась всегда и в приподнятом тоне его высокого певучего голоса, и в выражении красивых темных глаз. Юноша этот легко увлекал толпу товарищей и отличался смелостью вожака и трибуна“ [3]

Такова была университетская верхушка, призванная сыграть решающую роль в событиях, властно толкавшая студенчество на путь агрессивных действий и решительной борьбы.

Правила оставались нераспубликованы и тогда, когда в воскресенье, 17 сентября, университет был открыт. По обыкновению, отслужено было молебствие, после которого немедленно собралась многолюдная студенческая сходка. К попечителю отправлены депутаты с просьбой прибыть на собрание и разъяснить, в чем состоят и к чему сводятся

---

[1] Он род. в 1845 г. и в 1861 г. состоял на 4 курсе ист.-фил факультета.

[2] Что не помешало ему впоследствии быть обер-прокурором Сената и товарищем министра юстиции.

[3] В состав „комитета“ входил еще К. А. Ген, студент 3 курса юридич. факультета, но он не играл активной роли и, по отзыву Л. Ф. Пантелеева, только молча на все соглашался.

новые порядки. Вследствие свойственного российским администраторам легкомыслия, Филиппсон нисколько не учел серьезности положения. Он иронически возразил депутатам, что ни в какой мере не может назваться оратором, почему на сходку и не явится. Студентам же рекомендовал заниматься наукой, а не собраниями.

Такое отношение попечителя, совершенно, впрочем, гармонировавшее с общей чудовищной нерасторопительностью университетского начальства, еще подливало масло в огонь, и без того готовый вспыхнуть всякую минуту. Сходки продолжались и в понедельник, 18 сентября, несмотря на начало лекций, и в последующие дни. Местом собраний служили пустые аудитории. День ото дня сходки становились шумнее и бурливее. Есть в литературе указания на то, что в бурных событиях этих дней была известная организованность, что, при всей своей видимой стихийности, событиями руководил и направлял их по определенному руслу центр, созданный Михаэлисом. Все студенты разделены были на кружки. Из каждого кружка Михаэлис выбирал наиболее влиятельного члена. Все эти избранные вкупе составляли так называемую „центральную сходку". Собираясь на частных квартирах, она по большинству голосов принимала тактические решения, которые члены ее потом активно поддерживали на общеуниверситетских сходках. Таким образом на этих последних, сквозь разноголосицу мнений и предложений, члены центральной сходки единодушно и упрямо проводили свою линию поведения, которая, конечно, всегда благодаря этому одерживала верх. „На сходках господствовала полная свобода и полный порядок, — замечает В. В. Берви, — а между тем дела решались в заранее предусмотренном направлении, так как централь-

ная сходка служила наиболее верным выражением мнения всех студентов".

Наконец и власть предержащая начала переходить в наступление. 22 сентября последовало распоряжение запереть все пустые аудитории. Таким путем имелось в виду преградить студентам возможность устраивать сходки — наивная и нелепая мера, имевшая, как и должно было ожидать, обратное действие.

На следующее утро, 23 сентября, в сборном зале университета на стене появилось воззвание, уже открыто призывавшее студенчество к борьбе. „Мы — легион, потому что за нас здравый смысл, общественное мнение, литература, профессора, бесчисленные кружки свободомыслящих людей, Западная Европа, лучшее, передовое за нас. Нас много, более даже, чем шпионов. Стоит только показать, что нас много. Главное — бойтесь разногласия и не трусьте решительных мер. Имейте в голове одно — стрелять в нас не смеют — из-за университета в Петербурге вспыхнет бунт".

Еще более возбужденные прокламацией, студенты, найдя аудитории запертыми на ключ, устремились к актовому залу, который тоже оказался запертым. Но уже это не могло послужить препятствием. Толпа студентов, перед актовым залом возросшая человек до 500, взломала двери, причем, как кажется пострадала и мебель и оконные стекла. Николай Утин с кафедры произнес речь, настаивая на предъявлении начальству категорического требования об отмене вводимых дисциплинарных правил, возвращении к прежнему корпоративному строю и уничтожении платы, выбрасывавшей за стены университета огромные массы неимущих. Речь Утина встретила у аудитории горячий отклик и поддержку. По словам очевидца и участника, „ораторы более

умеренных и спокойных фракций, весьма, впрочем, немногочисленные, тотчас же, без всякой церемонии сталкивались с кафедры ярыми представителями огромного большинства и с первых же слов своих, заглушаемые свистками, шиканьем и резкой бранью, должны были умолкнуть".

На сей раз университетское начальство не сочло возможным оставаться совершенно в стороне. В актовый зал явился проректор И. И. Срезневский, исполнявший обязанности ректора, [1] и просил студентов разойтись, пытаясь их успокоить трафаретными фразами о долге перед отечеством, служении науке и пр. Поднялся невообразимый шум, собравшиеся стучали ногами и стульями, кричали проректору „вон", и, сопровождаемый весьма нелестными эпитетами, он вынужден был покинуть актовый зал.

С его уходом, на сходке вновь воцарился порядок. Приняты были следущие решения: не подчиняться новым правилам, не платить денег и не признавать матрикулов для входа в университет. После сего собравшиеся совершенно спокойно разошлись. Около 5 часов, когда университет опустел и последние студенческие фуражки исчезли на Набережной, к актовому залу торжественно явился попечитель Филиппсон с пышной свитой, состоявшей из инспектора, суб-инспекторов и прочей университетской полиции. Взломанная дверь была детально освидетельствована, после чего составлен протокол о следах взлома.

К чему понадобился этот нелепый протокол? В самом деле, не собиралось же мудрое университетское начальство возбуждать против бунтующих студентов уголовное преследование. Скорее это

---

[1] Ректор университета П. А. Плетнев в это время находился в отпуску за-границей.

должно приписать растерянности. Известный цензор, академик и заслуженный профессор А. В. Никитенко, человек вполне „лойяльной“ и в университетских событиях занимавший сугубо „верноподданные“ позиции, записал в этот день в своем дневнике: „Студенты шумят и требуют отмены всяких ограничений. Они, как и крестьяне в некоторых губерниях, кричат: воля, воля, не давая себе ни малейшего отчета в том, о какой воле вопиют. А что делает правительство? Восклицает: „о какие времена, какие времена!“ и налепливает на стенах в университете воззвания и правила о сохранении порядка, которые часто срываются студентами и заменяются воззваниями и объявлениями другого рода“.

Правительство и точно растерялось. Но степень этой растерянности Никитенко, видимо, переоценивал. События предшествовавших дней с непрелож-ностью свидетельствовали о стремлении студенчества во что бы то ни стало вызвать правительство на открытый конфликт, на решительное столкновение. После некоторого колебания правительство приняло вызов. 24 сентября, т. е. на следующий день после описанных событий, министерство перешло в наступление и своими мероприятиями предопределило характер дальнейших событий. Филиппсон доносил Путятину:

— „По докладу моему ваше сиятельство приказали прекратить на время чтение лекций в университете, пока будут изготовлены матрикулы, заключающие в себе, между прочим, правила, которым должны подчиняться студенты в стенах университета, и пока матрикулы будут розданы студентам с подпискою, что они будут эти правила исполнять. По сделанным мною распоряжениям, матрикулы для студентов и правила для вольнослушающих

могли быть изготовлены и розданы, к 2 октября Объявление о временном прекращении лекций выставлено было при дверях университета и вход в оные запрещен".

Итак, университет был закрыт. Собственно, этого и добивалось студенчество. План дальнейших действий был в общих чертах готов. С самого раннего утра 25 сентября студенты стали собираться к университету, хотя знали о его закрытии. Одни приходили якобы в библиотеку за книгами, другие для занятий в кабинетах, огромная же масса под предлогом получения справок о причинах и продолжительности закрытия университета. Таким образом собралась толпа, доходившая до тысячи человек, иначе говоря, почти весь университет.

Вопреки красовавшемуся объявлению о закрытии университета, вопреки тому, что входы во все университетские здания, не исключая библиотеки, были заперты, студенты не расходились. Они собрались на университетском дворе. Лестница, случайно прислоненная к стене, стала трибуной. Взобравшись на нее, ораторы требовали к себе попечителя, с тем, чтобы он разъяснил им смысл происходящих событий. Филиппсон находился в своем кабинете, но распорядился сказать студентам, что его нет. Бравый кавказский генерал, видимо, капитулировал перед безоружной толпой студентов. Иначе нельзя объяснить его поведение, не оправдываемое никакими соображениями дипломатического порядка. Он и сам, впоследствии, вынужден был сознаться в своей несостоятельности. В позднейшем докладе министру, из боязни ответственности за происшедшие события, Филиппсону пришлось пуститься на откровенную ложь: „В 11¼ часов исправляющий должность проректора приехал доложить мне, что толпа студентов, не делая никакого буйства, не по-

винуется его приглашению разойтись. Отправившись немедленно в университет, я встретил множество студентов, шедших по Невскому проспекту, а в университете узнал, что все они отправились к моей квартире".

На самом деле события развернулись в обратном порядке. Когда попечитель не пожелал высказаться по поводу закрытия университета, студенты решили отправиться к нему на квартиру, в Колокольную улицу, чтобы требовать разъяснений. Это был, конечно, не более как удобный предлог, повод к организации демонстрации, уже ранее предрешенной центральной сходкой. В ином случае достаточно бы было отправить к попечителю нескольких депутатов, но студенчество хотело устроить именно демонстрацию. И вот вся эта огромная масса студентов длинной колонной, растянувшейся на целую версту, отправилась через Дворцовый мост, по Невскому и Владимирскому проспектам, к квартире Филиппсона. „К крайнему моему удивлению,—вспоминал В. В. Берви,—я нашел площади, окружающие университет, и самый университетский двор переполненными народом; возле университета стояло войско. Оказалось, что я неожиданно попал на ту сходку, которая устроила первую по времени манифестацию в Колокольной улице. Я должен признаться, что я любовался на тот порядок и на самообладание, с которым действовали студенты. Полиция повторяла: „Господа, лишние удаляйтесь". Кто-то из толпы ответил: „Полиция лишняя". И действительно, полиция была совершенно лишняя, так как не было и тени нарушения порядка".

Тот же совершенный порядок господствовал во время самой демонстрации. Все это лишний раз свидетельствует о том, что она явилась не стихийным следствием возмущения университетской моло-

дежи действиями правительства, что демонстрация была заранее подготовлена и продумана именно как организованный протест. И притом, повторю опять, протест, выраженный в такой форме, которая несомненно должна была содействовать обострению конфликта. Ибо, покуда события разыгрывались в стенах самого университета, правительство могло еще надеяться локализовать назревавший конфликт мирными, домашними средствами, так сказать, путем „отеческого воздействия". Но поскольку университетские события, о которых, впрочем, и без того достаточно говорили в Петербурге, теперь приобретали гласность и открыто становились достоянием столицы, открытая же борьба с ними правительства делалась неизбежной. Прокламация, призывавшая студенчество к решительным мерам, претворялась в действие.

День выдался отличный, солнечный. „Это было, действительно еще никогда не виданное зрелище,— говорит Шелгунов.—Студенты длинной колонной, в ширину панели, шли медленно по Невскому, привлекая толпы любопытных, не понимавших, что это за процессия и куда она направляется". Участники вспоминали, что французские парикмахеры выбегали из своих магазинов и в необычайном возбуждении восклицали: „Revolution! Revolution!" Им вторили мальчишки, бегавшие по улицам с криками: бунт, бунт!

Порядок, неуклонно соблюдавшийся на демонстрации, тем более удивителен и тем более убеждает в ее организованности, что по пути ряды студентов еще разбавлялись присоединявшимися к ним слушательницами университетских лекций и всевозможной молодежью, в той или иной форме связанной с университетом. В демонстрацию вливались группы гимназистов старших классов, офицеры

и воспитанники других высших учебных заведений. Даже Филиппсон, несмотря на тревогу, которой он был объят выходя к студентам, заметил одного медика, который „много кричал, на том основании, что студенты академии и университета братья“. [1] Среди арестованных по этому делу мелькают имена чиновников, неслужащих дворян, находившихся в Петербурге — студентов Московского, Киевского, Харьковского университетов, Академии художеств, Духовной академии и т. д.

Но несмотря на это спокойствие и порядок, правительство спешило мобилизовать силы, весьма, впрочем, резонно рассуждая, что в дальнейшем события могут принять иной оборот. По обе стороны студенческой колонны медленно, в такт с нею, двигалась пешая и конная полиция. В арьергарде следовал отряд жандармов. Замыкалось шествие петербургским генерал-губернатором Игнатьевым и обер-полицеймейстером Паткулем. Между тем, на Колокольную мчался уже знакомый нам „прекрасный человек“, граф Шувалов, начальник III отделения; туда же послана была пожарная часть, дополнительные кадры городовых и жандармов. Рота стрелкового батальона, направлявшаяся в караул, возвращена с пути и направлена туда же.

На тесной Колокольной улице порядок поневоле нарушился, вследствие невероятной давки. Присутствовавшие могли, напр., наблюдать, как профессор Никитенко, стиснутый толпой, вскарабкался на парапет, окружающий Владимирскую церковь, и в таком неустойчивом положении, балансируя, пробирался к квартире Филиппсона. Последний сам уже спешил к месту действий. В этот решитель-

[1] Должно быть Виктор Александрович Ильин (род. 1841 г.), студент 2 курса Военно-медицинской академии, арестованный 2 октября.

ный момент он, все-таки, сумел проявить инициативу и предотвратить столкновение, к которому всячески стремилась руководящая верхушка демонстрантов. При первом же появлении войск в толпе раздались крики: „Войска идут! Насилие! Ура!“, и вся эта кипящая масса устремилась к Владимирскому, навстречу солдатам. „Мне удалось выбраться вперед,— докладывал министру Филиппсон,—и остановить передних сумасбродов, которые непременно хотели вызвать употребление против них силы. Перед командою были генерал-адъютант граф Шувалов и генерал-адъютант Паткуль, которые объявили толпе, что войска призваны собственно для полицейских наблюдений при таком скоплении, а не для действия оружием. За шумом тысячи голосов нельзя было ни говорить, ни слышать“.

В действительности было не совсем так. Николаевские витязи, привыкшие считать шашку и свинец единственно убедительными доводами, именно таким путем рекомендовали „вразумить“ демонстрантов. По счастью, кавказский опыт мало приучил Филиппсона к действию оружием, и он стал на спасительный путь дипломатических переговоров. Он понимал,—и кажется, успел убедить в этом и Шувалова,—что самое важное, в данных обстоятельствах, это локализовать события на улице и водворить их снова в университетскую зону. Посему на требование студентов принять и выслушать их депутатов, гарантировав честным словом их неприкосновенность, Филиппсон поспешил дать требуемое слово (которое, как мы ниже увидим, с такоюже легкостью было им нарушено) и согласился принять депутатов, но только в самом университете, куда обещал приехать следом за студентами. Однако, эти последние не имели повода доверять своему попечителю. Поэтому, когда процессия в том же порядке, с теми же

жандармами и городовыми по обочинам тротуаров, двинулась обратно к университету, попечитель вынужден был следовать пешком, во главе колонны. Только близ Гостиного двора ему разрешили сесть на извозчика, и дрожки, сопутствуемые студенческим эскортом, шагом направились к Университетской набережной.

Демонстранты запрудили университетский двор и швейцарскую. Не вместившиеся туда расположились на улице против крыльца, причем попрежнему университетская молодежь разнообразилась множеством посторонних лиц. К университету стекались кареты, дрожки, извозчичьи пролетки. Во всем этом нестройном движении чувствовалось напряженное ожидание развязки событий.

Попечитель для приема студенческих депутатов созвал в зале совета заседание, на котором присутствовали ректор, проректор и приехавший в университет Никитенко. Предоставим слово самому Филиппсону. Читатель не посетует на меня за длинную выписку, крайне поучительную для уразумения, с одной стороны, административных методов университетского начальства и настроения студенчества, с другой. [1]

„Депутатами явились студенты: Михаэлис, Ген и Стефанович. [2] Они объявили, что товарищи поручили просить меня объяснить им: почему закрыт университет и на долго ли? Почему их не допу-

---

[1] Вследствие того, что сами депутаты не оставили воспоминаний, этот впервые публикуемый нами документ является единственным связным и подробным рассказом, принадлежащим перу участника этой замечательной „мирной конференции", исключая сжатой передачи тех же событий в записках Никитенко.

[2] Студент 3 курса физ.-мат. факультета П. К. Стефанович принадлежал к числу рядовых участников движения, и его появление в числе депутатов было, видимо, более или менее случайным.

скают в студенческую библиотеку, которая есть их собственность; и, наконец, сказали, что студенты единогласно решили принять матрикулы, дать честное слово в исполнении правил и нарушить это слово, которое, как вынужденная присяга, необязательно.

В это время в залу совета вошел г. военный генерал-губернатор и объявил, что если студенты не разойдутся, то он вынужден будет употребить войска для их разогнания. [1]

Я сказал депутатам, что лекции временно прекращены по предложению вашего сиятельства и вследствие беспорядков; что по этой же причине не может быть дозволен вход в библиотеку, и что принятие или непринятие мартикулов представляется вполне свободному произволу каждого. Я поручил трем вышеозначенным студентам передать мой ответ своим товарищам и предложить им немедленно разойтись, не доводя дела до гибельной крайности".

В объяснении попечителя есть одно маленькое, но крайне характерное упущение, которое едва ли можно отнести за счет его забывчивости. Он не упомянул об обещании, данном им депутатам, с целью успокоить студентов, что библиотека откроется 26 сентября, т. е. на следующий день, а лекции возобновятся 2 октября. Этим, конечно, только и объясняется то, что студенты, хотя и не скоро, после продолжительных дебатов, но все-таки разошлись, в уверенности, что за ними, на первый раз, осталась частичная победа.

---

[1] Граф П. Н. Игнатьев сменил на посту Спб. военного генерал-губернатора генерала Потапова, человека неумного и совершенно ординарного. По этому поводу Герцен замечал, что „Петербургское генерал-губернаторство, как английская корона при Георгах, переходит от идиота к сумасшедшему и от сумасшедшего к идиоту".

На основании всех этих данных можно совершенно отчетливо вывести одно общее заключение. Именно, что студенчество всячески стремилось к обострению конфликта. Желание демонстрантов вызвать столкновение с войсками, конечно, диктовалось этим доминирующим мотивом: заставить правительство прекратить игру в прятки и вступить на путь откровенной борьбы. Ту же цель преследовало и демонстративное заявление депутатов по поводу решения студенчества принять злополучные матрикулы и нарочито не выполнять заключавшихся в них правил. Это заявление не могло не произвести должного впечатления и послужило предметом специального обсуждения в заседании совета университета, происходившем вечером того же 25 сентября.

Заседание открыл Филиппсон, заявивший, что после всего происшедшего правительство не может уже ни на шаг отступить. Матрикулы и правила, ими установленные, должны быть введены какой угодно ценой. Причем раздача матрикулов имеет производиться деканами, в заседаниях факультетов, в торжественной обстановке. Каждый студент при получении матрикула обязуется честным словом подчиняться изложенным в нем правилам. Уклоняющийся от принятия такого обязательства подвергается исключению. „Таким образом, — заключил Филиппсон, — отношения давших слово к начальству будут основываться на добровольном подчинении и уговоре". Это „добровольное соглашение" было совершенно в духе царского самодержавия.

Заявление попечителя вызвало бурные дебаты. Защитников его предложения набралось только трое. Большинство — Кавелин, Спасович, Костомаров, Пыпин, Стасюлевич, Утин и др. — резко возражали, указывая на то, что в круг деятельности про-

фессоров не входят полицейские функции, что профессора не могут навязывать студентам правила, редакция которых для них самих неприемлема. Попечитель коротко, но веско возразил, что „государственная служба имеет свои требования, и что кто не хочет нести обязанностей ее, волен ее оставить". Этот дипломатический намек, однако же, подействовал далеко не на всех присутствовавших. Предложение попечителя при голосовании не собрало большинства (+14, —15), и Филиппсон, совершенно растерянный, покинул заседание, пригрозив еще, что обо всем происходившем в совете он не замедлит доложить министру.

Вечером все того же достопамятного 25 сентября созвано было совещание правительствующего сената, за отсутствием из столицы Александра II под председательством вел. князя Константина Николаевича. Результатом этого совещания явился арест в ночь на 26 сентября нескольких десятков студентов по данным III отделения, — зачинщиков беспорядков. „Колокол" тогда же засвидетельствовал дикое самоуправство этих арестов, при которых не соблюдалось даже тени законности. И, конечно, первыми арестованы были три студенческих депутата, неприкосновенность личности которых ограждена была „честным словом" Шувалова и Филиппсона. Впрочем, слово, конечно, оставалось ненарушимым. Михаэлис, Ген и Стефанович арестованы были не как депутаты, а как „зачинщики". Зачинщиками же оказалось большинство студентов, занимавших в свое время общественные должности, независимо от их подлинной роли в движении.

Стремясь таким путем обезглавить студенческое движение, правительство, как кажется, должно было учитывать неизбежное влияние арестов на всю массу студенчества. Весь Петербург горячо сочувствовал

студентам, резко осуждая правительственные мероприятия. „Предательские аресты!“ восклицал В. Б. Берви. Старуха А. П. Керн, некогда подруга Пушкина, доживавшая свой век на весьма почтительном расстоянии от политики, и та возмущалась „шальными действиями правительственных лиц“. Шелгунов вспоминал, что полторы тысячи университантов передали свое возбуждение по меньшей мере 4—5 тысячам семейств, в разной мере близким и сочувствующим университетской молодежи. Волнение и возбуждение перекинулось за стены и других высших учебных заведений, в воспитанниках которых начинало уже зарождаться чувство общестуденческой солидарности. „Дело как бы принимало характер общеучебного и еще более расширяло симпатии к студентам,—свидетельствовал Шелгунов. — Молодежь (неучащаяся), в особенности офицеры военных академий, тоже принимала горячее участие в студентах. Говорили даже, что и воспитанники военно-учебных заведений собираются на сходки и замышляют демонстрации. Что же касается студентов, то они волновались чуть ли еще не более чем раньше и решили опять собраться в университете“.

Несмотря на то, что студенчество было обезглавлено арестами, организация сохранилась. Движение уже успело выдвинуть новых руководителей. События слёдующего дня, т. е. 27 сентября, опять-таки явились результатом заранее обдуманного и принятого решения. Та же А. П. Керн вспоминала, как накануне этого дня, вечером, был у нее харьковский студент, М. С. Гулевич, состоявший вольнослушателем Петербургского университета и принимавший деятельное участие в студенческих волнениях. За чаем он несколько раз взволнованно повторял: „Что-то завтра будет?“ и на недоумевающий вопрос хозяйки сказал: „Да сходка опять будет“.

Сходка и действительно произошла в среду, 27 сентября. Интересные подробности о ней сообщает Шелгунов. Накануне вечером было традиционное собрание у П.Л. Лаврова (тогда профессора Артиллерийской академии). Собрались преимущественно артиллерийские офицеры. Беседа вертелась, конечно, вокруг студенческой истории, тем более, что Лавров слышал о том, что в среду в университете будет наготове воинская сила. Поэтому он полагал крайне желательным участие в сходке возможно большего количества офицеров, для предотвращения столкновений с войсками. „План этот был приведен в исполнение таким образом: утром в среду два артиллерийских офицера встали по обеим сторонам Литейного моста, у Литейной, и всех офицеров (академиков) и студентов-медиков, шедших в город, останавливали, объясняли им, что у университета будет сходка, что явится войско, что студентов нужно выручить, и направляли идущих назад, через мост, на Васильевский остров".

Сведения, сообщенные Шелгуновым, косвенно подтверждаются другими данными. Так, в самый день 27 сентября арестован был за участие в студенческих беспорядках артиллерийский поручик Энгельгардт. А в „справке о полковнике Лаврове" указывалось, что он „не только сочувствовал самовольным действиям студентов, но даже присутствовал на их сходках на университетском дворе, воодушевляя их словами и вмешательством в их буйные действия".

Студенты стали сходиться с 9 часов утра. Менее нежели в час собралось несколько сот человек, буквально затопивших сени, ведшие в помещения совета и правления, на сей раз служившие сборным пунктом. Между тем толпа все возрастала, что побудило студентов перейти в университетский двор.

Но и он оказался недостаточно вместителен, так что толпа запрудила набережную. Всего в этой сходке приняло участие до 600 студентов и огромная масса посторонней публики, „людей разных сословий и званий", по определению Филиппсона. „Даже между людьми, одетыми в бывшую студенческую форму, — по свидетельству попечителя, — были замечены люди, не принадлежавшие к ведомству университета".

Основным мотивом сходки явилось требование освобождения арестованных товарищей. Объяснение с Филиппсоном, конечно, ни к чему не привело. Студенты напоминали ему о его честном слове, гарантировавшем неприкосновенность их товарищей, а Филиппсон в ответ рекомендовал им скорее успокоиться и разойтись во избежание серьезных столкновений. Подобные увещания, конечно, должны были оказать и оказали обратное действие. Поленница дров послужила трибуной, с которой произносились горячие речи. В результате решено было обратиться с адресом к министру. В адресе говорилось об отсутствии в университете зачинщиков, ибо все студенты одинаково враждебно относятся к новым правилам. Стало быть, надлежит либо освободить арестованных, либо арестовать всех студентов. Тут же, во дворе, на опрокинутой вверх дном кадке, этот адрес подписывался. Явилась было мысль организовать для подачи адреса Путятину новую демонстрацию, но затем, во избежание напрасного кровопролития, решено было ограничиться отправкой к министру шестерых депутатов.

Тем временем как протестующая молодежь волновалась во дворе, в зале совета тоже волновались, но совсем по-иному. Там собрались военный генерал-губернатор, обер-полицеймейстер, попечитель и, наконец, сам министр, впервые нашедший нужным

посетить университет. Игнатьев, на том основании, что мирные средства не действуют на студентов, рекомендовал разогнать сходку вооруженной силой, задержав более виновных. В свою очередь Филиппсон, всемерно стремившийся снять с себя ответственность как за происходящее, так и за возможные его последствия, „принимая во внимание, что лекции в университете временно закрыты, отнесся к г. военному генерал-губернатору с предложением, в котором просил возложить впредь до открытия лекций прекращение беспорядков на университетском дворе исключительно на градскую полицию".

Во исполнение всех этих благих намерений к зданию университета стянута была конная и пешая полиция, занявшая те и другие ворота университетского двора. Так как это показалось недостаточным, призвана была еще и регулярная пехота, в лице батальона л.-гв. Финляндского полка, построившегося в каре на набережной, вплотную к университету. Таким маневром студенты, собравшиеся во дворе, оказались отрезанными от толпы своих товарищей и посторонней публики, остававшейся на улице.

Появление войска, как и прежде, оказало еще более возбуждающее действие на протестантов, так что события грозили принять зловещий оборот. Жандармского офицера, въехавшего верхом в толпу студентов, хотели стащить с лошади. Другой раз, когда полицеймейстер схватил за руку одного офицера, тот обнажил против него саблю. Подобных мелких стычек, всякую минуту грозивших перейти в открытое столкновение, много было в эти тревожные часы, в которые обе стороны чувствовали себя на острие ножа.

Подоспевший Игнатьев заявил толпе, что в последний раз требует, чтобы она разошлась, в противном же случае через полчаса сходка будут

разогнана силой. Эти полчаса имели в виду дать студентам возможность обдумать свое дальнейшее поведение. Правительство, не в пример студенчеству, очень боялось открытого столкновения и все еще всемерно старалось его избежать. На сей раз расчет Игнатьева оправдался. В первую минуту, под влиянием последней угрозы, студенты отвечали, что не разойдутся, покуда не будут освобождены их товарищи. „Умрем, умрем! — загудела толпа с энтузиазмом отчаяния", вспоминает один из участников. Но доморощенную трибуну заняла одна из слушательниц университета, М. А. Богданова, и стала внушать собравшимся, что в случае дальнейшего упорствования их ждет не геройская смерть, а позорное избиение. Тогда только студенты, сами хорошо понимавшие, что правительство предпочтет действовать не свинцом, а прикладами и нагайками, стали расходиться.

Петербург еще не скоро успокоился. Улицы, прилегавшие к университету, в этот и последующие дни более напоминали военный лагерь, нежели центр академической жизни столицы. Ворота университета были заперты полицией, в сенях поставлен сильный караул из регулярной пехоты. „На всякий случай" расположены были войска поблизости, в манеже 1-го кадетского корпуса, а по Васильевскому острову день и ночь разъезжали конные патрули.

Между тем, еще в самый разгар событий, к Игнатьеву явились шесть студенческих депутатов, настаивавших на допущении их к министру. Филиппсон предупредил Игнатьева, что министр не примет депутации. Так оно, конечно, и произошло на самом деле. Гр. Строганов заблаговременно известил Путятина о том, что к нему придет депутация, и рекомендовал не принимать ее. „Так гр. Строганов сказал? — переспросил Путятин. — Так точно. — Ну, так

скажите им (т. е. депутатам), что я не могу их принять". Диалог весьма примечательный. И, конечно, „мудрый" министр не подозревал, что благодушный дежурный чиновник передаст этот диалог тщетно ожидавшим студенческим депутатам, один из которых, Л. Ф. Пантелеев, увековечит в своих воспоминаниях сей образчик министерской самостоятельности. Впрочем, после долгих препирательств, министр согласился допустить к себе одного из депутатов, и, таким образом, студент П. Е. Леонард передал ему адрес.

То же самое, что происходило в среду, 27 сентября, по свидетельству В. Д. Спасовича, „повторялось регулярно, однообразно, по той же, можно сказать, программе и в следующие дни: собирались студенты, являлась и полиция и войско, кончалось тем, что брали под стражу кое-кого из публики и из студентов и отправляли в крепость".

Кажется, правительство вняло доводам студентов, требовавших, как выше сказано, в поданном министру адресе либо всех освободить, либо всех арестовать. В действиях правительства обнаруживалась несомненная тенденция к осуществлению именно второго предложения. Таким образом, в университете хозяйничала полиция и регулярная пехота, вся студенческая верхушка томилась в Петропавловской крепости. Аресты продолжались, но в последние дни сентября представляли собой явление спорадического характера. Упорно циркулировал слух о том, будто в воскресенье, 1 октября, студенты других учебных заведений намерены устроить на Невском демонстрацию в знак своей совершенной солидарности с универсантами. Демонстрация не состоялась, но оживление на Невском в этот день царило необычайное, и военные пикеты были на сей случай еще усилены.

Отчасти как следствие этих слухов, отчасти в связи с предстоящей раздачей матрикулов, 2 октября арестовано было и доставлено в крепость около 25 человек, а 5 октября захвачена многолюдная сходка, происходившая на частной квартире, у видного публициста и общественного деятеля Н. В. Альбертини. Параллельно этому регулярному пополнению крепости юными узниками, студенческое движение внешне, в своих публичных проявлениях, естественно шло на убыль. Оно переносилось в студенческие кружки, комитеты, на конспиративные квартиры. Бывали, видимо, отдельные случаи и открытых проявлений протеста. По крайней мере, Костомаров вспоминал, что „ожесточение“ студентов „дошло до такой степени, что многие толпами собирались на сходки на улицах с тем, чтобы их арестовали“. Однáко, кульминационный пункт движения был впереди.

Передовая профессура, к которой постепенно присоединялись профессора всех направлений, после неудачных попыток предстательства за студентов[1] окончательно уклонилась от всякого участия в раздаче матрикулов. В виду сего найден был иной, несомненно не лишенный остроумия способ приведения в исполнение новых правил. После 1 октября в газетах появились объявления, извещавшие студентов, что тем из них, которые хотят продолжать свое образование, предлагается, согласно распоряжению министра, посылать по почте прошения

---

[1] В самый день волнений, 27 сентября, совет отправил к попечителю депутацию, с просьбой внести ряд коррективов в правила или хотя бы приостановить их распубликование. Филиппсон любезно выслушал депутатов и даже благодарил их за советы, которые обещал принять в соображение. Это происходило в то самое время, когда правила спешно заканчивались уже печатанием, чтобы на следующий день утром появиться в газетах.

на имя ректора с просьбой о выдаче матрикула. Студенты же, уклонившиеся от подачи прошений, будут считаться автоматически выбывшими.

„Брать матрикулы или не брать, — с этим вопросом обращались к нам поминутно студенты, — вспоминал Спасович. — Мы советовали студентам подчиниться и просить о выдаче матрикул. Мы им ставили на вид, что всякое дальнейшее противодействие будет крайне бесполезно и непрактично, что немыслимо, чтобы все из числа полутора тысяч студентов действовали заодно... Из числа 1 500 найдется каких-нибудь 300 человек, которые во что бы то ни стало попросят матрикул или за которых просить будут их родители и родственники, а при 300 студентах университет может существовать". Результатом такого сорта увещаний явилась потеря студентами доверия к своим учителям. И даже на Кавелина — главу профессорской оппозиции — обрушился по почте поток ругательных писем, со злыми упреками по адресу его примиренческой политики.

Однако, расчет профессуры оправдался, хотя только наполовину. Человек пятьсот студентов взяло матрикулы, частью следуя первоначальному решению не исполнять „честного слова", частью под давлением родных или будучи запугано правительственными репрессиями. Всем остальным студентам, не взявшим матрикулов, предложено было в 48-часовый срок оставить Петербург, получив документы свои через полицию. Кажется, ни один из тысячи „антиматрикулистов" не последовал этому приказанию. 11 октября университет был открыт, но — и в этом профессура ошиблась — даже при пятистах студентах он существовать не смог. Впрочем тому были особые причины.

Итак, в среду, 11 октября курсы были открыты, но в крайне необычайной обстановке. Обе двери,

ведущие в университет, малая с набережной и большая со стороны Биржевого сквера, были снабжены крепкими запорами. Сторожа, дежурившие у дверей, пропускали только тех студентов, которые предъявляли им матрикулы. Университет выглядел совершенно пустым, ибо горсточка человек в пятьдесят слушателей утонула и вовсе растворилась в огромном помещении. Среди них оказались, вопреки всем оградительным мерам, отдельные „антиматрикулисты", которые явились, конечно, не для слушания лекций, а с целью поглядеть, что будет происходить в университете. Бродя по коридору, они всячески запугивали „матрикулистов", настойчиво рекомендуя им не посещать лекций. И в самом деле, в большинстве аудиторий профессора находили по двое, по трое студентов, а иные лекции вовсе не состоялись за отсутствием слушателей.

То же самое повторилось и 12 октября. Университет был попрежнему пуст. События разыгрывались и на сей раз вне его стен. Готовился последний, центральный акт университетской драмы. У малого входа с Невы толпилась небольшая группа студентов, стремившаяся проникнуть во двор. По другую сторону, в вогнутом полукруге перед парадной дверью университета стеснилась огромная масса студенческой молодежи, под всякими предлогами требовавшая допуска во внутрь. Настроение было в высшей степени напряженное. Среди протестантов оказалось множество студентов, уже примирившихся по крайней мере внешне с новыми правилами. Теперь, вновь захваченные энтузиазмом своих товарищей, они демонстративно рвали матрикулы и швыряли их на мостовую, так что перед входной дверью постепенно рос бумажный ковер.

Полицейские власти, которые в эти дни, собственно говоря, управляли университетом, не проявили ни

малейшей склонности к объяснениям. На место действий вызваны были находившиеся наготове городовые, конные жандармы, рота Финляндского полка и рота преображенцев. [1] Войска окружили студентов, находившихся в полукруге у двери числом до ста человек, и под конвоем отвели их через малый вход в университетский двор. Там полиция тщательно переписала фамилии арестованных, тем временем как студенты покуривали папиросы, весело беседуя.

Между тем публика на Биржевой площади и на набережной все время прибывала. Среди нее были густо вкраплены отдельные группы студентов, уцелевшие при первом аресте. Когда в 2 часа дня задние ворота снова распахнулись и, под усиленным конвоем солдат, построенных в две шеренги, стали выводить арестованных, все окрестности были запружены народом. Арестованные студенты шли весело и с явным удовольствием. Они могли быть удовлетворены. Попытка правительства открыть университет оказалась сорванной, и конфликт между студенчеством и властью предержащей еще более обострился.

А из шумящей толпы свободных студентов, со всех сторон стекавшихся к задним воротам, полетели в воздух фуражки и послышались крики: „И мы с вами, отведите и нас в крепость!“ Это настойчивое требование было охотно исполнено. Вся толпа, человек около ста тридцати, была также оцеплена солдатами. „Отдавшихся добровольно в плен свели в крепость, — писал Герцен. — Черта эта очень замечательна потому именно, что она очень народна. В 1820 году, после семеновского дела, когда роту

---

[1] „Не та ли, которая так отличилась 14 декабря 1825 г.?“ — иронически писал Герцен.

е. в. велено было конвоировать в крепость, весь полк потребовал, чтобы и его отправили; даже люди, бывшие в госпитале, которые едва в состоянии были держаться на ногах, присоединились к товарищам".

Но этот второй арест не обошелся столь же благополучно, как первый. Солдаты были уже сильно возбуждены и пустили в действие приклады. В результате оказалось немало пострадавших, из которых некоторые в тяжелом состоянии доставлены были в госпиталь. [1]

Этим по существу и кончилась борьба студенчества с правительством, причем победа несомненно осталась на стороне первого. Петербургская власть чувствовала себя в пустом университете наподобие Наполеона в оставленной и горящей Москве. Университет был открыт лишь номинально. Никитенко с горечью отмечал, без малого через 2 месяца после этих событий, что „мнимое открытие университета производит только скандал. Никто из студентов не ходит на лекции; прежде человек 50 являлось, а теперь решительно нет никого". На одном физико-математическом факультете иногда читались лекции и существовало какое-то подобие занятий. На прочих факультетах занятия вовсе прекратились. В конце концов и профессора перестали посещать лекции, наскучив подниматься на кафедры мертвых аудиторий.

„Немудрено, что университет пуст, — негодовал тот же Никитенко.—Большая, самая многочисленная

[1] По официальным сведениям, пострадал только кандидат Лебедев, который был „ушиблен ножнами жандармской сабли". Но в „Колоколе" сообщалось, что Лебедеву разбили голову и разрубили скулу, один студент был ранен штыком, другому жандарм отрубил ухо, до двадцати человек получили удары прикладами. Шестеро наиболее тяжело пострадавших студентов отправлены в госпиталь.

часть студентов принадлежит к юридическому факультету, а профессора этого факультета сговорились не являться на лекции. С ними заодно С[пасович] и К[авелин]. Это особенно питает дух оппозиции в студентах". Гнев верноподданного профессора был вовсе несправедлив. Названные профессора не долго оставались в положении „итальянских забастовщиков". Вскоре после октябрьского разгрома ряд молодых передовых профессоров, во главе с Кавелиным — Стасюлевич, Пыпин, Спасович, Утин — демонстративно вышли в отставку.

А студенчество едва ли еще нуждалось во внушениях извне. Ибо даже „матрикулисты", посещавшие университет, проявляли нескрываемую склонность к беспорядкам. Стесненные бдительным надзором начальства, они, тем не менее, являлись в университет отнюдь не для слушания лекций, а собирали сходки в курительной, в разных закоулках. И там выражалось сочувствие заключенным товарищам и перечитывались их письма. Настроение студентов было настолько агрессивным, что суб-инспектор Шмидт, однажды попытавшийся прекратить такую сходку, был избит собравшимися. В конце концов, правительству оставалось признать свое поражение. В арсенале его не оставалось более никаких средств, способных сломить единое и дружное противодействие студенчества. 20 декабря, высочайшим распоряжением, петербургский университет был снова закрыт впредь до пересмотра университетского устава.

Этот день в Петропавловской крепости и в Кронштадской тюрьме был торжественным днем, ознаменовавшим полную победу узников. Победа подтвердилась наглядно еще одним фактом: вслед затем Путятин, автор пресловутых „правил", был уволен в отставку.

Тем временем, арестованные оставались в Петропавловской крепости. Режим был довольно мягкий, вернее сказать, вообще отсутствовал. На свидания с арестованными, правда, никто в крепость не допускался. Но помещались студенты в общих камерах, которые не запирались, так что узники свободно сообщались между собою, даже устраивали литературные вечера и спектакли. С воли допускались, в неограниченном количестве, книги, газеты, съестные припасы. Это последнее было особенно ценно, ибо, по свидетельству А. П. Керн, „их суток двое морили голодом... и спали они, бедные, кучами на голом полу, пока спохватились им дать соломы.

Заключение в Невской куртине М. И. Михайлова, ставшее очень скоро известным арестованным студентам, произвело на них сильнейшее впечатление. Вещественным памятником этого остались стихи Николая Утина, обращенные к Михайлову:

...Да, сеял доброе ты семя,
Вещал ты слово правды нам,
Верь — плод взойдет, и наше время
Отмстит сторицею врагам!
И разорвет позора цепи,
Сорвет с чела ярмо раба,
И призовет из снежной степи
Сынов народа и тебя.

Стихи в общем тяжеловатые, но ярко отражающие настроение известной части студенчества.

17 октября всю арестованную массу студентов перевезли в Кронштадтскую крепость. Там они провели около полутора месяцев. 4 декабря участь студентов была решена. Правительство не хотело раздражать общественное мнение. Чем-то надо было расквитаться за закрытие университета. И к своим арестантам правительство отнеслось сравнительно „милостиво“. Пятеро „главных зачинщиков“ были

высланы в отдаленные губернии,[1] 32 человека исключены из университета с правом держать выпускные экзамены в качестве вольнослушателей и оставлены в Петербурге под надзором полиции, но только в случае представления поручителей. Остальные отделались заключением в тюрьме и „строгим внушением“. А несколькими днями прежде на параде царь благодарил доблестных преображенцев, финляндцев и жандармов за победу, одержанную ими над студентами. Так уж всегда как-то выходило у Александра II, еще со времени коронации, когда, одной рукой подписав манифест об амнистии декабристов, он другой рукой бросил в публику пасквильную книжку Корфа.

„Я монархист (разумеется, не абсолютный) по принципу, а к Александру Николаевичу питаю искреннюю преданность со времени освобождения крестьян,— растерянно и строго конфиденциально с самим собой делился Никитенко своими сомнениями.— Но право, я боюсь, чтобы мне не перестать уважать его. Как можно делать министром таких людей, как граф Путятин? Ведь довольно поговорить с ним четверть часа, чтобы убедиться в его ограниченности. Неужели у избравшего его так мало знания людей и знания государственных нужд, которым должны удовлетворять избираемые? Это непостижимо“.

Беда была, конечно не в Путятине и не в императоре Александре, а в том режиме, в том социально-политическом строе, который они олицетворяли. Но „великий реформатор“ „Александр-освободитель“ едва ли подозревал, сколь мало доверия внушает он даже своим самым „верноподданным слугам“.

---

[1] Е. П. Михаэлис, К. А. Ген и А. А. Герике — в Петрозаводск, откуда, за самовольную отлучку переведены первый в Тару, Тобольской губ., а второй в Царевококшайск, Вятской губ.; А. С. Френкель и М. А. Новоселецкий — в Вологодскую губ.

МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ОСЕНЬЮ 1861 г.

26 сентября в „Московских ведомостях", появилось зловещее известие о закрытии Петербургского университета. Несмотря на доходившие до Москвы сведения о начинавшихся в Петербурге волнениях, никто, ни московское университетское начальство, ни московское студенчество не ожидали такого конца.

Весть эта явилась совершенною неожиданностью, и тем сильнее должно было проявиться ее впечатляющее действие. Скупое официальное извещение комментировалось в многочисленных письмах участников петербургских событий к своим московским товарищам. А на следующий день, 27 сентября, в Москву уже прибыли петербургские эмиссары и ходило по рукам воззвание петербургского студенчества, призывавшее Московский университет поддерживать его в только еще начинавшейся борьбе. И Московский университет горячо откликнулся на этот призыв. Известие о закрытии Петербургского университета явилось искрой, которая, упав в давно накопившиеся горючие материалы, произвела неминуемый взрыв.

Московские студенты выступили не только в защиту своих прав, но выступили и как представители единой всероссийской студенческой громады. Надо еще иметь в виду и то, что в московском студенческом движении, с самого же начала, резко

обозначились два течения, две группировки, создавшиеся в основе своей, как мы видели, еще в процессе волнений конца пятидесятых годов, на почве социального расслоения студенчества. В нем сохранилось умеренное течение, питавшееся преимущественно либеральной дворянской молодежью, еще не утратившее веры или, по крайней мере, остатков веры в легальные возможности. Представители этого направления явились инициаторами бессмысленных „адресов“, о которых речь впереди.

Основная же масса студенчества занимала крайние радикальные позиции, и настроения ее выразились на одной из первых же сходок, в беседе с инспектором П. Д. Шестаковым. На вопрос его о причинах сходки студенты отвечали, что они „недовольны университетскими правилами и порядками и желают изменения этих порядков, именно: желают уничтожения платы за слушание лекций, желают права студенческих сходок, особой студенческой библиотеки, особой студенческой кассы, права самостоятельного, независимого гласного студенческого суда, права выбирать библиотекарей и кассиров и участия через своих депутатов в выборе профессоров и ректора“.

Такова была университетская программа-минимум, выраженная, как выше сказано, еще в самом начале волнений. Пути осуществления этих требований не могли быть столь же определенны. Им предстояло в значительной мере вырабатываться уже под влиянием самой практики борьбы. Одно только было для „красного“ студенчества совершенно очевидно, будучи несомненно подсказано ходом петербургских событий. На вопрос инспектора — надеются ли студенты „незаконным путем“ добиться исполнения своих требований, участники сходки возразили, что они понимают трудность достижения

своих желаний путем запрещенных законом сходок, но все-таки будут собираться, несмотря ни на какие запрещения, и будут добиваться своего во что бы то ни стало".

Тактика московского студенчества в большой степени подсказана была опытом петербургских событий. Отсюда москвичи извлекли много полезных уроков, благодаря чему, при соблюдении той же организованности, в Москве соблюдалась, напр., глубоко продуманная конспирация. Так, вожди и руководители движения скрывались на чужих квартирах, чем несравненно осложнялся процесс их „вылавливания". Студента Гижицкого, которому принадлежала руководящая роль в событиях, полиция искала совершенно безнадежно около двух недель. [1] При объяснениях же с каким-либо представителем университетского начальства студенты, которых он лично знал, отодвигались вглубь толпы, и его окружала совершенно неизвестная толпа.

Наряду с этими чисто практическими соображениями, петербургские события несомненно подсказали и самый лейт-мотив московского движения. Конечно, студенты не могли питать особых надежд на реализацию своих требований избранным ими нелегальным путем, хотя и легальные попытки обречены были на неудачу. В их действиях преобладало и довлело, как и в Петербурге, всемерное стремление добиться закрытия университета.

Это их стремление ставило университетский персонал в безнадежное и безвыходное положение. Всякие „домашние средства" наперед оказывались при

---

[1] 5 или 6 октября он сам явился по начальству в университет, заявив: „Я слышал, что полиция ищет меня и что из-за меня беспокоят моих товарищей обысками, и потому я решился явиться сам, чтобы избавить товарищей от беспокойства".

подобном настроении студенчества недостаточными. Немудрено, что московское университетское начальство растерялось еще несравненно более нежели петербургское и, по выражению генерал-губернатора Тучкова, „находилось во все время под влиянием какого-то панического страха и ограничилось, как впоследствии оказалось, одним лишь тем, что составляло протоколы о беспорядках".

В защиту руководителей университета должно, впрочем, сказать, что растерялись не они одни. Не меньшую растерянность испытывали и высшие чиновники государства. И было почему! После всего, что произошло в Петербурге, представлялось совершенно невозможным и бесконечно страшным прибегать к закрытию еще и Московского университета. Это хорошо понимал даже Путятин, который телеграфно наставлял В. А. Дашкова, помощника попечителя (сам попечитель бравый генерал-адъютант Н. В. Исаков, скроенный по образцу и подобию Филиппсона, был в отпуску), ни в коем случае не закрывать университета до апробирования этой меры генерал-губернатором.

Генерал-губернатор Тучков и сам учитывал положение вещей. „Закрытие Московского университета, этого старейшего рассадника отечественного просвещения, пользующегося заслуженным доверием всей России, не могло бы не произвести самого безотрадного впечатления на все общество", писал он министру. Стало-быть выхода не было, и московский университетский ареопаг невольно склонялся на путь, проложенный обанкротившимся петербургским университетским начальством.

Начало открытых волнений должно отнести на 27 сентября, т. е. на самый день получения известия о закрытии Петербургского университета. Студенческие сходки происходили сперва в аудиториях,

а затем перенеслись в университетский сад, отчего радикальная часть студенчества, собиравшаяся там, получила шутливое наименование „садовой партии".

В 10-м часу утра профессор международного права М. Н. Капустин, явившись в большую юридическую аудиторию, нашел ее переполненной. С кафедры оратор в университетском мундире читал воззвание, присланное петербургскими студентами. Растерявшийся профессор с большим трудом добрался до кафедры и, кое-как отбормотав свою лекцию, поспешил с жалобой к инспектору. Этот обратный путь Капустина был тоже не лишен трудностей, ибо площадка внизу юридических и словесных аудиторий, лестница и сени были запружены студентами, горячо обсуждавшими призыв петербургских товарищей.

В волнениях этого дня наиболее действенное участие приняли первые два курса юридического факультета. Следует особенно подчеркнуть, что вообще в „студенческих историях" 1861 г. самая активная роль выпала на долю младших курсов. Объяснение напрашивается само собою. Именно на младших курсах преобладало демократическое студенчество, влившееся в университеты и воспитавшееся уже в новых условиях, тогда как старшие курсы еще носили следы замкнутой, кастовой высшей школы.

Попытка водворить порядок, произведенная инспектором Шестаковым, поспешившим на смену дезертировавшему Капустину, окончилась совершенною неудачею. В изложении самого Шестакова участие его в событиях этого дня приобрело черты античной героики. В действительности же дело свелось к тому, что инспектор, поднявшись на кафедру, прочел собравшимся соответствующие пункты „правил", гласившие, что „в стенах университета студенты

не должны производить шума и говорить речей, могущих нарушить порядок и тишину, которые должны быть соблюдаемы постоянно", а „предумышленное нарушение целым курсом университетских постановлений влечет увольнение виновных из университета". После этого официального интермеццо Шестаков собирался еще что-то сказать, но при первых же словах был освистан и ошикан. Под такой неблагозвучный аккомпанимент он и покинул аудиторию.

С равным успехом выступал инспектор и вторично перед возмущенными студентами, составившими сходку после второй лекции в большой словесной аудитории, где „молодой белокурый студент", Евгений Гижицкий,[1] произносил с кафедры горячую речь.

Умудренные горьким опытом своих петербургских коллег, члены правления Московского университета решили на первых же порах предупредить развитие студенческих беспорядков мудрыми профилактическими мерами. Меры эти, как и большинство применявшихся в аналогичных обстоятельствах российскими администраторами, уподоблялись брандерному снаряду, пущенному в пороховой погреб. Два первых курса юридического факультета были закрыты, а все студенты, участвовавшие в беспорядках, исключены на год из университета. Это распоряжение распространилось на 300 студентов-юристов. Тогда же выпущены подписные листы с предложением подписываться тем студентам, которые обязывались не принимать участия в сходках. В первые дни из общей массы полуторы тысячи

---

[1] П. Д. Шестаков свидетельствовал, что Гижицкий в тот же день „был указан полиции", получившей приказание арестовать его. Но, как выше сказано, его не удалось разыскать.

студентов примерно пятая часть прибегла к этим спасительным листам.

Все это произошло 28 сентября. В виду того, что исключенные юристы лишены были права и физической возможности проникать в университет, а с другой стороны, учитывая, что сходки в аудиториях дают богатые возможности для наблюдения за их участниками, и следуя требованиям конспирации, студенты в тот же день перенесли сходки в сад при старом университете. На дворе около сада висел внушительный колокол, возвещавший окончание лекций, некогда, в прежние времена, призывавший казеннокоштных студентов к трапезе. Теперь удары старого колокола стали созывать студентов на сходки. Мероприятия правления, как и должно было ожидать, вызвали новый взрыв возмущения среди студенчества, в наиболее горячо настроенной части претворившийся в открытый бурный протест.

Хорошо понимая, что ловкий фортель с подписными листами, имевший, кстати сказать, разительное сходство с историей раздачи матрикулов в Петербургском университете, будучи правильно рассчитан на известный процент беспринципных и неустойчивых студентов, грозит спасти университет от закрытия, студенчество перешло в решительное наступление. Количество посещающих лекции катастрофически таяло, тогда как толпа в саду беспрерывно росла.

В волнениях преимущественно участвовали историки, филологи и студенты младших курсов других факультетов. Математический факультет, в массе, сперва не принимал участия в сходках и только 29 сентября вступил в сношения с „садовой партией“ по вопросу об адресе. Медики старших курсов оставались совершенно в стороне от движе-

ния, продолжая систематически и спокойно посещать лекции.

30 сентября, в субботу, огромная толпа студентов, доведенная до крайней степени возмущения действиями Шестакова, в частности и особенности подписными листами, отправилась на его поиски, требуя выдачи подписных листов. Настроение студентов было таково, что квартира инспектора едва не подверглась разгрому. Не найдя Шестакова дома, студенты отправились в здание нового университета и выломали решетку в главных сенях вместе с плитой, в которой она была укреплена. Возникла мысль, отклоненная студентами старших курсов, — об устройстве демонстрации с торжественным несением решетки, как бы олицетворявшей полицейские меры, вводившиеся в университете. Затем заставили сторожей отпереть большую математическую залу, в которой собралась сходка. Студенты тщетно требовали к себе инспектора, сознававшего, что „возражать разгоряченной толпе было не совсем безопасно“. После ряда горячих речей студенты разошлись, приняв решение на следующий день, в воскресенье, собраться в клинике для категорического объяснения с медиками, уклонявшимися от участия в беспорядках.

Если до сего времени правление переживало только состояние полной растерянности, то теперь А. А. Альфонский, по острому слову Герцена, „упорный и хронический ректор Московского университета“, и все его присные испытали приступ острого страха. Около этого же времени должно было притти известие о том, что Петербургский университет отдан под опеку „градской полиции“. Это известие породило у членов правления Московского университета жгучую зависть, и оно постановило ходатайствовать о вмешательстве полиции в университетские

беспорядки. Но московские высшие власти оказались все-таки настолько дальновидны, что сумели учесть неудачный петербургский опыт. Дашков, помощник попечителя, решительно отклонил это ходатайство, найдя его неуместным. А Тучков писал Путятину: „Я твердо убежден, что вмешательство полиции, т. е. введение команды в аудитории или в ограду университета, лишь раздражило бы умы и остальной молодежи и таким образом повело бы к дальнейшим беспорядкам".

Так, литенное возможности укрыться за полицейские мундиры, правление университета осталось лицом к лицу с возмущенным и негодующим студенчеством. Не находя иных средств борьбы, правление учредило комиссию для расследования беспорядков 30 сентября. „Историческая записка" иронически замечала, что „единственным результатом работ этой комиссии было удостоверение, что решетка сломана с умыслом, неизвестно именно кем".

Ближайшие три дня прошли сравнительно спокойно. Правда, сходки продолжались каждое утро, но не в стенах университета, а в саду и в частных домах, да и носили они несравненно более сдержанный характер. В это время студенты заняты были составлением адреса и готовились к демонстрации на могиле Грановского.

Каракозовец И. Худяков вспоминал, что студент Славутинский подал мысль об устройстве манифестации под предлогом панихиды по Грановском 4 октября. „Весть об этой манифестации быстро разнеслась по городу и приняла чудовищные размеры. Вскоре после того встретил я в одном салоне одного из своих шапочных знакомых, который меня отозвал в сторону и сказал с очень серьезной и таинственной миной: „Я вам только говорю: 4 октября будет сбор на четырех площадях; начнется революция".

Революция не началась, но манифестация произошла, и весьма внушительная. Огромная масса студенчества в совершенном порядке явилась на Пятницкое кладбище, к могиле Грановского, во время служения панихиды. Впереди несли венок и большую корзину цветов. Кажется, вся московская полиция и жандармерия были на ногах в этот тревожный день. В помощь им были еще приданы казаки и регулярная пехота. Однако все это носило не то профилактический, не то декоративный характер, ибо полицейские водители, следуя наставлениям генерал-губернатора, как бы нарочито не замечали того, что происходило на могиле. Полицеймейстер Сычинский стоял спиной к ограде, чтобы не слышать произносившихся речей. Содержание этих последних, к сожалению, не дошло до нас, но во всяком случае тон их был достаточно резким, чтобы побудить охранителей порядка к агрессивным действиям. Приезд обер-полицеймейстера Крейца не изменил дела. Он, правда, попытался проявить и свою волю, не совершенно покорную неофициальным предписаниям генерал-губернатора. Сопровождаемый Сычинским и частным приставом, Крейц направился прямо к ограде с намерением войти в толпу. Но крики: „Вон, не мешать!“ остановили его торжественное шествие. Связанный волей Тучкова, обер-полицеймейстер стал поодаль на пригорке, откуда наблюдал толпу.

„Речи были произнесены, некоторые весьма неумеренные“, свидетельствует официальный документ. Основными мотивами речей были требования изменения правил и открытие Петербургского университета. После сего студенты с соблюдением того же порядка отправилась обратно в университет, не взирая на увещания полиции, все так же всею массою, в стройных колоннах.

Обер-полицеймейстер, столь позорно изгнанный студентами из-за могильной ограды, тем не менее поспешил донести Тучкову, что все произошло „с соблюдением должного приличия“. В свою очередь Тучков доложил Путятину, что „посещение могилы покойного профессора произошло, по донесению полиции, с соблюдением должного приличия. Студенты... произнесли над могилой две или три речи, которых, впрочем нельзя было расслышать, и затем без шуму разошлись по домам“.

Здесь снова приходится подчеркнуть во многих смыслах замечательное различие в отношении к студенческим волнениям со стороны московских полицейских властей, во главе с Тучковым, и московского университетского начальства. Тогда как первые всемерно стремились обойтись „мирными средствами“, последнее было всецело за открытое столкновение. Видимо, петербургский пример, подействовавший на либеральничающего генерал-губернатора, пказался недостаточен для мудрых отцов московского просвещения. Стоит несколько прислушаться к их возмущенным, негодующим голосам, тем более, что в оценке сущности происшедшего события они подошли очень близко к истине.

„Историческая записка“ витийствовала: „Все здесь было противно правилам от начала до конца. Все это совершалось на улицах Москвы, в публичных местах, в виду полицейской силы, и все проходило безнаказанно. Не должно ли это было вселить в студентов совершенную уверенность, что они своею массою составляют силу, к которой начальство боится приступить“. „Историческая записка“ являлась все-таки официальным отчетом, в котором неудобно было дать волю и простор своим чувствам. В частных высказываниях можно было выражаться искреннее и откровеннее. Профессор Ешев-

ский горячо сожалел об отсутствии у совета „материальной силы“. А инспектор Шестаков возмущенно восклицал: „Студенты совершили 4 октября уличную демонстрацию, нарушили публичное благочиние на глазах полиции, и все сошло им с рук, не были арестованы даже главные нарушители общественного спокойствия. А как благотворно было бы для университета, — мечтал инспектор, — если бы полиция арестовала, по крайней мере, говоривших неумеренные речи ораторов“.

Но тревожные события 4 октября обнаружили и еще нечто, несравненно более серьезное и интересное для понимания внутреннего смысла и характера студенческого движения в Москве, нежели колкости, отпускаемые по адресу друг друга генерал-губернатором и университетским начальством. На могиле Грановского прозвучал резкий голос, безжалостно и отчетливо обозначивший раскол и социальную дифференциацию в среде студенчества. Один из ораторов горячо обрушился на представителей „умеренной партии“, называя их „шпионами, рабами, довольными своим рабством“. Для того чтобы оценить это выступление, должно нам воротиться несколько назад.

В самые же первые дни волнений, 27 или 28 сентября, „садовая партия“ задумала подать адрес на высочайшее имя. Эта идея использования легальных возможностей оказывалась, однако, в резком противоречии с редакцией адреса, составленного в весьма радикальных тонах и содержавшего все студенческия требования, от уничтожения платы за правоучение до полного возврата к студенческому корпоративному строю, отмены новых правил и открытия Петербургского университета. Заранее, конечно, обреченная на неудачу, попытка эта, вылившаяся в подобные формы, само собою разумеется, исключала всякую

возможность каких-либо практических последствий. Едва ли, впрочем, авторы адреса на таковые и рассчитывали. Этот адрес скорее имел смысл гласного, письменного протеста. Но „садовая партия“ не удержалась до конца на высоте своих требований. Неосторожно вступив на путь компромиссов с „умеренной партией“, объединявшей фрондирующие дворянские и буржуазные слои студенчества, радикальная партия, в конце-концов, совершенно уклонилась от своей первоначальной идеи.

29 сентября произошло совещание всех четырех курсов математического факультета, из студентов которого, преимущественно, и вербовалась умеренная партия. Собрание решило принять участие в адресе, подав его чрез университетский совет, либо чрез исправляющего должность попечителя. Но из всех пунктов адреса, предложенного „садовой партией“, собрание оставило только два: освобождение неимущих студентов от платы и выбор студенческих депутатов для заявления начальству о своих нуждах и предотвращения столкновений между студенчеством и начальством. Руководящую роль в умеренной партии играл окончивший физико-математический факультет Н. Н. Раевский. Следует сказать несколько слов о генеалогии этого вождя умеренного студенчества, связанного родственными узами с наиболее блестящими дворянскими родами. Дедом его был известный генерал Н. Н. Раевский, герой 12-го года и один из наиболее ярких представителей александровской фронды. Двоюродный дед, В. Л. Давыдов, и дядья, кн. С. Г. Волконский и М. Ф. Орлов — выдающиеся декабристы. Отец — друг Пушкина, также сопричастный к декабризму, впоследствии генерал-лейтенант, объединивший вокруг себя сосланных на Кавказ декабристов.

Подобная генеалогия не только логически пред-

определяла Раевскому то место в студенческом движении, которое он занял, но и являлась источником прочных связей, простиравшихся до интимоого знакомства с генерал-губернатором. Университетское начальство не знало, конечно, тогда, что между Тучковым и Раевским завязались правильные сношения на почве выработки редакции высочайшего адреса. Тучков в общем одобрил самую идею адреса, настаивая только на том, чтобы он был составлен в возможно более умеренных тонах и чтобы в это время в университете господствовал порядок. Это его требование в значительной степени было исполнено. В последние дни перед решающими событиями сходки в университетском саду стали менее людными и сравнительно спокойными. Депутатские собрания обеих партий по вопросам переработки адреса происходили в доме Раевского. А переработок этих было много. Текст адреса сперва испытал на себе давление умеренной партии, в результате чего от семи пунктов, намеченных „садовой партией“, уцелело только пять. Попутно адрес подвергался редакции Тучкова, следствием чего являлось постепенное полное вылущивание его содержания. Тучков действовал с большим тактом и дипломатичностью. Под конец он настоял на том, чтобы *адрес* на имя царя был заменен *прошением* на имя Путятина. „Это была бы с вашей стороны большая любезность, — улещивал Раевского правитель канцелярии, — потому что подача адреса может поставить генерал-губернатора в довольно неловкое положение. Вы при этом ничего не потеряете. Генерал-губернатор напишет от себя министру, и при проезде государя он покажет ему копию с вашего прошения и будет сам ходатайствовать за вас“.

Раевский и точно ничего не терял от такой замены. Но дело теряло, и при том чрезвычайно много.

Оно постепенно утрачивало весь свой первоначальный смысл и содержание. Садовая партия не оставалась безучастна ко всем этим пертурбациям. В показаниях Раевского сохранилось не мало колоритных строк, свидетельствующих о том, что визиты его к генерал-губернатору проходили для него несравненно спокойнее, нежели возвращения потом в среду студентов. Капитулировать перед дипломатическими минами Тучкова было гораздо легче, конечно, чем потом оправдывать и логически обосновывать пункты капитуляции перед радикальным студенчеством.

„На другой день,— рассказывает Раевский об одном таком столкновении,— я прочел в саду измененный генерал-губернатором адрес. Он возбудил сильное неудовольствие. „По какому праву вы изменили его,— кричали мне,— мы не дадим себя дурачить! Каждый день предлагают нам новый адрес, и все это дело нескольких человек. Вчерашний адрес мы подпишем, а на сегодняшний не согласны!“ Напрасно я старался объяснить студентам, что я выпустил только несколько громких фраз. „Мы не согласны!“— кричали они“.

Это произошло еще 31 сентября. Уже тогда резко обозначилась дифференциация в рядах студенчества. Таким образом, оратор, выступавший 4 октября на могиле Грановского, только подытожил события и столкновения предшествующих дней.

А между тем, вопрос об адресе в той мере, поскольку судьба его зависела от университетского начальства, был уже разрешен бесповоротно, вне всякой зависимости от дипломатических тонкостей Тучкова и студенческих споров. Совет твердо решил не принимать никаких адресов и в этом направлении воздействовал на Дашкова, все еще исполнявшего обязанности попечителя. Согласно наставле-

ниям Тучкова, Дашков готов был принять адрес студентов и только под давлением совета остался верен букве закона, запрещавшего всякие коллективные просьбы. Таким образом, совет университета сам тщательно отметал всякую возможность мирного исхода событий.

Исаков, в начале октября вступив в исполнение обязанностей, всецело встал на эту же точку зрения. Между ним и Раевским произошел 8 октября диалог, который стоит того, чтобы его привести, ибо он предопределил дальнейший ход событий. Раевский объяснил, что, прежде чем подать попечителю прошение, он хотел-бы знать, примет ли Исаков его для передачи министру. На это попечитель ответил категорическим отказом,

„Я знаю, какие беспорядки происходили в университете в моем отсутствии,—сказал он,—я знаю, что городское начальство не дало университету войск, когда университет их требовал для прекращения беспорядков. Университет не мог прекратить этих беспорядков своими средствами: он не имел для этого материальной силы. Но теперь, при проезде государя я объясню ему это и попрошу его, чтобы он дал университету недостающую ему материальную силу, чтобы университету не нужно было более обращаться за нею к городскому начальству“. Раевский стал было доказывать, что для предупреждения новых беспорядков необходимо принять просьбу студентов, уговаривая попечителя прежде всего прочесть ее. „Я не хочу ее видеть“, — отвечал попечитель,—а для прекращения беспорядков, если они повторятся, я приму свои меры“.

Решающий вызов студенчеству был брошен. Следствием этого неизбежно должен был явиться взрыв, размеры которого еще углубились из-за неловкого поведения Раевского и других депутатов

умеренной партии, посвященных Раевским в тайну беседы своей с попечителем. Справедливо рассчитывая, что, утаив от студенчества намерения Исакова, они могут заслужить от своих товарищей обвинение в двойной игре, а с другой стороны, опасаясь, что весть об отказе попечителя побудит обманутых студентов решиться на крайние меры, депутаты мудро порешили спрятать голову под крыло. Они обязались друг перед другом честным словом не открывать товарищам своей тайны, сложили с себя звание депутатов и прекратили подписку адреса.

Этот неудачный, бестактный ход, конечно, не мог спасти положения. Слухи об отказе попечителя принять адрес с быстротой телеграфной депеши распространились по всему университету и привели к единственно мыслимому результату — к открытому возмущеию.

Волнение началось в среду, 11 октября, рано утром, еще во время первой лекции, и охватило сразу весь университет. В профессорскую, где находились Исаков и несколько профессоров, явились четыре депутата.

Раевский, олицетворявший умеренную партию, свою роль уже отыграл, доказав полное банкротство своей группы, и теперь студенческое движение, на последнем своем этапе, вновь выдвинуло на передовую линию огня Гижицкого, вождя „садовой“ партии, возглавившего депутацию. Депутаты передали попечителю приглашение студенчества явиться в одну из аудиторий для объяснений. Исаков отвечал, что со студентами ему говорить не о чем, адреса он принять не может, равно как и не может сделать никаких изменений в правилах, которые он обязан охранять.

Попечитель и депутаты, в равной мере, чувствовали напряженность этого решающего момента.

Исходя из того, что не студенты существуют для университета, а университет для студентов, Гижицкий доказывал, что ни одно университетское постановление не может вступить в законную силу без предварительного обсуждения студенческим коллективом. Подобные доводы, конечно, должны были только еще более укрепить генерала Исакова в его отказе от всяких объяснений.

Известие о том, что попечитель не только решительно отказывается принять адрес, но и не желает говорить со студентами, вызвало бурный взрыв негодования и возмущения. Перепуганный швейцар прибежал запирать профессорскую, но, следуя ли примерам героев Плутарха, являвшихся перед возмущенными войсками, или вспомнив более близкое и несравненно более прославленное „явление“ императора Николая на Сенной площади во время холерного бунта, — генерал решился выйти навстречу студентам в швейцарскую. Объяснение, стало-быть, все-таки произошло, но в таком духе, что не могло удовлетворить ни студентов, ни тем менее Исакова, появление которого было встречено смехом, а попытка повторить сказанное прежде того депутатам покрыта криками: „Вы говорить не умеете, мы вас презираем!“

Убедившись, что тога античного героя на сей раз не пришлась ему по плечу, генерал Исаков решил прибегнуть к власти предержащей. Он послал инспектора к Тучкову с сообщением, что толпа неизвестных ворвалась в здание университета, проникла за решетку и ломится в профессорскую и что университет, за отсутствием материальной силы, не может сопротивляться этому нападению. После сего попечитель удалился в профессорскую. Но толпа студентов проникла туда следом за ним, оттеснила в угол и, окружив кольцом,

несколько часов продержала его в осадном положении.

Появление в профессорской обер-полицеймейстера, представлявшего власть генерал-губернатора, которому студенты в этот день еще доверяли, внесло некоторое успокоение. Постепенно студенты разошлись, порешив собраться на следующий день в 9 часов утра в саду, дабы обсудить дальнейшее свое поведение.

Немедленно по снятии с него осады Исаков отправился к генерал-губернатору и в личной беседе просил об арестовании целого ряда студентов, считавшихся зачинщиками, а также направлении на следующий день в университет полицейской команды. Просьбу эту попечитель изложил также в письменной форме, приложив проскрипционный список студентов, предназначенных к арестованию. „Я не считал себя в праве отказать г. попечителю в этом требовании, и в ту же ночь оно было исполнено полициею, — докладывал министру Тучков, не сочувствовавший этой мере.—Но произведенное по требованию г. Исакова арестование нескольких студентов возбудило новое неудовольствие между их сотоварищами.“

Еще вечером 11 октября полицейские агенты в театре слышали о намерении студентов устроить на утро демонстрацию и отправиться к дому генерал-губернатора. Ночные аресты, постигшие человек 25 студентов, произведены были беспорядочно и случайно.

В 10-м часу утра к университету стали стекаться огромные толпы студентов. С разных сторон приходили известия о ночных арестах. Студенты еще раз пытались прибегнуть к попечителю за объяснениями, но он, по обыкновению, уклонился от этого. Тогда многосотенная толпа студентов отправилась к гене-

рал-губернаторскому дому на Тверской площади. За нею по пятам следовали регулярная пехота и конные жандармы. Шествие прошло беспрепятственно, но; расположившись на Тверской, студенты немедленно стиснуты были железным кольцом войск. К Тучкову отправлены были четыре депутата. Генерал-губернатор, умевший столь дипломатично объясняться наедине с Раевским, оказался нем перед многосотенной толпой и, скинув с себя либеральные покровы, распорядился арестовать депутатов.

А тем временем на площади произошло беспримерное по тем временам (впоследствии ставшее явлением будничным) варварское избиение студентов полицией. Воспоминания современников и свидетелей рисуют поистине ужасающую картину. Дочь декабриста Н. М. Муравьева, Е. Н. Бибикова писала декабристу Оболенскому: „Хватали всех проходящих студентов, которых сначала набрали около 500..., в клинику отнесены были пять человек, из коих два опасно ранены. Кроме того, число помятых и зашибленных доходит до 20. Ловили студентов не только на площади, но на Никитской, Большой Дмитровке, разных переулках и Бронной. Вообще полиция действовала самым возмутительным образом.“ Кн. Д. Д. Оболенский рассказывал, что студентов „избили еще, кроме полиции, разные лавочники, мясники, да мужики, которым кто-то шепнул, что эти господа пришли просить отмены воли“. Еще несколько выдержек из жутких в своей выразительности корреспонденций в „Колоколе“: „Передовые жандармы, предводительствуемые офицерами, начали бить по лицу близ стоящих студентов; эти не стерпели и отвечали тем же; жандармы рассвирепели, нахлынула еще толпа новых сермяжных рыцарей, и доблестное воинство пошло чесать безоружных граждан и кулаками, и рукоятками пала-

шей, и ножнами. Справа, с тыла, слева били студентов, как зверей, загнанных в западню"... И т. д. и т. п. Количество подобных случаев можно бы еще и увеличить. Но оговоримся: во всех этих рассказах, несомненно, наличествует элемент преувеличений и непроверенных слухов. Та же Бибикова в другом письме сообщала, что слухи об увечиях, нанесенных студентам, оказались во многом преувеличенными. Поэтому, в заключение, не лишне обратиться к полуофициальному документу, составленному самими же студентами, повествующему о том же побоище, которое получило название „Дрезденского сражения", по имени гостинницы „Дрезден", помещавшейся напротив генерал-губернаторского дома.

„Студенты, которые до тех пор стояли перед домом в совершенной тишине, ожидая возвращения посланных, увидели себя окруженными. Не желая быть отрезанными от своих товарищей, которые, как они полагали, излагают в это время генерал-губернатору свои просьбы, они решились не давать себя оттеснить и объявили об этом жандармскому офицеру, который в это время старался ворваться со своими солдатами между ними и домом генерал-губернатора. Офицер, не желавший подвергнуться личным неприятностям при нападении жандармов на студентов, отступил на несколько шагов и потом крикнул солдатам: „хватай, вяжи". По этому сигналу пешие жандармы и полиция мгновенно устремились на студентов, начали бить и хватать их. Начался страшный беспорядок; одни бежали, другие сдавались без сопротивления, а остальные, раздраженные вероломным поступком полиции, которая ни разу не приглашала их разойтись, сопротивлялись нападавшим. К полиции и пешим жандармам присоединились и конные, которые до тех пор скрывались на дворе Тверской части. На свист хожалых из всех

домов выскочили дворники и мужики, заранее приготовленные, которые с криком и ругательствами устремились на бегущих. Началась ужасная травля по всем улицам города: где только показывалась студенческая фуражка, полиция и жандармы устремлялись на несчастные жертвы и били их бесчеловечным образом. Конные жандармы на полном скаку нагоняли студентов, хватали их за шиворот или за волосы и, продолжая скакать, волочили их за собою".

В Тверскую часть, таким образом, было приволочено и загнано по одним сведениям — около 300, по другим до 500 студентов. Естественно, что эта огромная масса арестованных не могла вместиться в помещении, и потому все они, не исключая больных, раненых и избитых, оставались на полицейском дворе до позднего вечера, когда их, под усиленным конвоем, стали разводить по отдельным полицейским частям. Там ожидали их тесные, до нельзя грязные, кишевшие всевозможными насекомыми камеры, а ложем должен был служить голый пол. Пропустив, таким образом, свои жертвы сквозь все ужасы полицейского произвола и насилия, московские власти приступили к постепенному освобождению арестованных, оставляя тех, которым надлежало предстать пред следственными органами.

Нетрудно представить себе, какое впечатление события 12 октября произвели на уцелевших студентов. Впечатляющее действие их оказалось настолько сильным, что на какой-то — правда, довольно незначительный — срок объединило обе партии в едином чувстве протеста. Под этим знаком собралась 13 октября в университетском саду многолюдная сходка, на которую постепенно являлись и студенты, выпускаемые из полицейских частей. На сей раз потрясенные вчерашним побоищем профессора,

впервые за все время волнений, проявили некоторую долю участия и внимания к своим питомцам. Впрочем, участие это конкретно выразилось лишь в том, что профессура появилась в свите университетского начальства на крыльце, откуда студентам объявлено было, что в следственной комиссии будет участвовать депутат от университета, и подан благой совет — разойтись, во избежание новых столкновений с полицией.

Основная масса уцелевшего студенчества теперь, повидимому, была вполне склонна последовать этому совету. Растерянное, обессиленное последними событиями, обескровленное арестами, вырвавшими из его рядов всю головку „садовой партии“ и таким путем лишившим его твердого руководства, студенчество явно потеряло почву из-под ног. В нем, с первых же дней после „Дрезденского сражения“ стали брать верх оппортунистические настроения умеренной партии. Попытка раздробленной, качественно и количественно обнищавшей радикальной группы устроить забастовку, бойкот занятий впредь до окончания следствия,[1] имела лишь временный и то частичный успех. Медицинский факультет почти целиком отказался от участия в забастовке. Постепенно к ним примыкали старшие курсы других факультетов, а прочим не оставалось ничего иного, как покориться силе обстоятельств.

---

[1] Перед следственной комиссией предстало 36 студентов. Правительство и в этом случае проявило „высокую гуманность“. Гижицкий и П. И. Войнаральский (впоследствии выдающийся революционер) приговорены к исключению из университета и ссылке в отдаленные губернии, под надзор полиции. Пятнадцать студентов исключены из университета. Кроме того, выслано было несколько участвовавших в беспорядках вольнослушателей и частных лиц.

В КАЗАНИ

Едва только в стенах Петербургского университета вместо пестрой студенческой толпы замелькали полицейские и солдатские мундиры, — как телеграф уже отстукивал тревожную депешу министра народного просвещения к попечителю Казанского учебного округа, кн. П. П. Вяземскому:

„Вследствие беспорядков закрыты лекции и вход в С.-Петербургский университет; если в вашем университете возникнут замешательства, требующие сильных мер, то обратитесь к губернатору и с его разрешения употребите те же средства".

Отдадим должное проницательности, проявленной в этом случае Путятиным. Прогноз его был безошибочно верен. Впрочем, ошибиться было трудно. Волнения Казанского университета с совершенной очевидностью предопределялись предшествующими событиями, в частности и в особенности, конечно, бездninской историей. Влияние ее на казанское студенчество было огромно. Если прежде того оно выступало единым фронтом, от разночинцев и до отпрысков высшего дворянства и чиновничества, то бездninская панихида, (точнее сказать, ее административные последствия) провела четкие границы между отдельными социальными группами, из которых строилось казанское студенчество. Проповедь демократизма и радикализма при первом же соприкосновении с жестокой действительностью оказа-

лась мощным дифференцирующим средством. Разночинное студенчество очень скоро увидело себя одиноким в революционном лагере. Бегство из него происходило под разными лозунгами, от академизма, прогрессизма, компромисса и неверия в реальные возможности борьбы до откровенного циничного карьеризма.

Остающиеся зло высмеивали уходящих; революционный актив, состоявший теперь преимущественно из разночинной бедноты, клеймил ренегатов общего дела. Но, по существу, это „общее дело", конечно, только выигрывало от того, что переставало быть общим, становясь монополией студенческих социальных низов. Ибо в результате этой дифференциации революционное ядро казанского студенчества выкристаллизовалось в крепкий и выдержанный коллектив, который один, без вмешательства и вне влияний иных социальных групп, в октябре 1861 г. решил судьбу Казанского университета.

Если мы обратимся к ходу действий в Казанском университете, то легко установим коренное различие в самой тактике казанского студенчества сравнительно с петербургским и московским. Казанским протестантам был совершенно чужд всякий компромисс, независимо от того, выражался ли он в форме адресов, петиций либо депутации. Это различие, конечно, предопределялось вышесказанным. Недавний революционный опыт, с одной стороны, и социальный состав мятежного студенчества, с другой, диктовали тактику решительного наступления. Казанские студенты не объяснялись и не просили, а требовали. И при этом требовали в такой форме, которая предрешала исход, делая с первых же шагов совершенно неминуемым резкий конфликт. Казанское студенчество, собственно говоря, и не считало нужным скрывать свои намерения и недаром встретило

аплодисментами и криками „ура“ известие о закрытии университета.

Основным стимулом казанских „замешательств“ было возмущение все теми же новыми правилами, борьба за свои „исконные права“ и, наконец, поддержка и солидарность с передовыми отрядами единой общестуденческой армии. Таковы были центральные лозунги, начертанные на знамени казанских протестантов. Но в качестве видимого, внешнего предлога возмущения избрано было чисто местное, даже можно сказать „домашнее“ обстоятельство. 7 октября человек тридцать студентов явились к попечителю „с жалобою на неудовлетворительное преподавание профессора физики Больцани, причем объявили, что лекций, читанных им в аудитории, они не понимают“.

Заявление это, вероятно, было справедливо, ибо даже горячие поклонники Больцани свидетельствовали о том, что при всех своих научных заслугах педагогом он был дурным. Но борьба с Больцани началась давно, велась студентами вяло, и конкретным результатом ее пока было только постановление о высылке из Казани студента А. В. Олигера, главного виновника „истории“. На фоне грозных событий, разыгрывавшихся в это время в столичных университетах, когда и Казанский университет, ранее других приобщившийся к политической борьбе, стоял на пороге новых боев, внезапное возвращение к стародавней Больцановской истории носило характер использования первого попавшегося предлога.

Это тем более очевидно, что в депутации к Вяземскому участвовали также студенты, вовсе не принадлежащие к физико-математаческому факультету и потому, казалось бы, нисколько не заинтересованные во вразумительном чтении лекций по физике. Университетское начальство, во главе с по-

печителем, охваченное тревожной лихорадкой, не обратило тогда должного внимания на это странное явление: юристов и филологов, жалующихся на дурное преподавание физики. И еще другому обстоятельству попечитель, как будто, не придал значения. Именно, что наряду с этим, по существу чисто академическим пожеланием казанские студенты поставили еще иное, скорее политическое требование — об оставлении в Казани Олигера.

Дело в том, что, вопреки исключению из университета и постановлению о высылке из Казани, Олигер не покидал города, посещал университет, играя крупную роль в студенческом движении, и даже избран был заведывающим студенческой читальней. Незадолго перед тем Олигер подал прошение о зачислении его вновь в студенты.

Вяземский нисколько не учел всех этих тревожных симптомов. Верный букве закона и послушный предписанию министра держать себя строго-начальственно, он отказался выслушать студентов, ниже вступать с ними в какие-либо объяснения. Но, видимо, чутьем ощущая потенциальную силу движения, попечитель, как кажется, на первых порах склонен был пойти на уступки. Отнесшись к совету университета со специальным предложением по поводу происшедшего, Вяземский запрашивал, не встречается ли препятствий к обратному приему Олигера в университет.

Студенчество не склонно было выжидать результатов этой ведомственной переписки. В тот же день, 7 октября, уже в стенах университета, начались шумные и многолюдные сходки. А на следующий день, 8 октября, произошла бурная демонстрация против исп. должность инспектора Янишевского, в известной мере олицетворявшего собою ненавист-

ные новые правила. Таким образом, едва только возмущение началось, как злосчастный Больцани был снят с повестки дня, совершенно забыт, и студенческое движение отчетливо высказало свои требования.

А на квартире инспектора произошло следующее. Утром, когда еще Янишевский, в халате, спокойно попивал чай, толпа студентов, численностью до 150 человек, „силою вломилась“ в квартиру инспектора, требуя его для объяснений. Янишевский поспешил выйти к студентам, но вступать с ними в переговоры отказался. Тогда студенты, сплошной толпой угрожающе надвигаясь на Янишевского, стали кричать: „Вон, вон, не надо нам инспектора! У нас нет инспектора!“

Все это было до такой степени неожиданно и необычайно, что Янишевский даже забыл в столь ответственный момент о своих полицейских обязанностях. „Все ли пришедшие кричали,—доносил он,—я решительно не могу сказать; этих криков я никак не ожидал, я был так ошеломлен, что не видел даже, кто у меня был“. Но столь неожиданное для инспектора происшествие это, как кажется, не было нисколько неожиданным для его непосредственных участников. Все подробности его, вплоть до единодушного и согласованного, как по комаиде, крика „вон“, должны свидетельствовать о преднамеренности во всех деталях этой демонстрации, может быть не обошедшейся без репетиции.

В тот же день совет университета собрался на экстренное заседание, в котором председательствовал сам попечитель. Беспокойное состояние духа членов совета, порожденное казанскими событиями, углублялось тревожными известиями о Петербургском и Московском университетах. Поэтому совет, бессильный справиться со студенческим возмуще-

нием, почел благоразумнейшим умыть руки и выйти из этой рискованной игры. Принято было постановление о закрытии университета „до восстановления спокойствия“. Одновременно с этим совет, „возмущенный поступками студентов в квартире инспектора и члена совета, считая себя оскорбленным ими“, просил князя Вяземского о производстве формального следствия по этому поводу, для выяснения виновников, которые, по мудрому разумению совета, подлежали уголовному суду. Как видим, методы университетских начальств были совершенно единообразны, и на них нисколько не отражались территориальные различия. Совет Петербургского университета, как читатель, должно быть, помнит, тоже охотнее всего ограничивался составлением актов о взломах. Это было, конечно, несравненно проще и доступнее, нежели вникать в социально-политические корни беспорядков.

Оставался, стало быть, открытым только вопрос о том, какими мерами может быть достигнуто „восстановление спокойствия“. Но и на это у отцов казанского просвещения оказался уже готовый рецепт. Немедленно по закрытии университета ректорские функции переданы были бравому майору Вержбицкому, который, во главе роты батальона внутренней стражи, должен был в 6 час. вечера прибыть в университет, на место изгоняемых студентов.

Когда еще эти, по выражению казанских студентов, „новые воспитанники университета“ маршировали в направлении своего местоназначения, в читальной собралась многолюдная студенческая сходка, которая встретила сообщение о закрытии университета громовыми рукоплесканиями, криками „ура“ и „браво“.

Казанское студенчество имело полное основание торжествовать. Единство и решимость действий

привели его к головокружительно быстрой победе. Правительство буквально не успело опомниться, когда уже было вынуждено закрыть университет, т. е. решиться на поступок, чрезвычайно подрывавший его авторитет.

Итак, цель была достигнута, победа одержана полная. Потребность в агрессивных действиях иссякла. Поэтому, по прибытии стражи, студенты беспрекословно покинули читальную и расположились в швейцарской. Майор Вержбицкий, очень быстро освоившийся со своим новым положением „отца казанского просвещения“, огласил распоряжение о закрытии университета и занятии его караулом. Студенты покинули университет, но, тем не менее, официальное донесение гласило, что „некоторые из них оставались с полчаса на улице и делали ребяческие выходки против кн. Вяземского, инспектора и караула, который они называли новыми воспитанниками университета“.

Вечером того же 8 октября происходили совещания студентов на частных квартирах. Полицеймейстер, своевременно поставленный в известность о предстоящих „сборищах“, принял меры к их недопущению. Но собрания все-таки произошли, и, видимо, непосредственным следствием их явилась состоявшаяся на следующий день, 9 октября, на площади перед университетом студенческая демонстрация, направленная против попечителя кн. Вяземского. Очевидцы вспоминали, что на площади собрались „огромные толпы“ демонстрантов, которые выкрикивали весьма нелестные эпитеты по адресу попечителя, университетского начальства и университетских порядков и пели студенческие песни. Часа через два, после бесплодных увещаний майора Вержбицкого и полицеймейстера, студенты двинулись прочь от университета, распевая те же песни.

С содержанием этих песен мы уже несколько знакомы. Осенью 1861 г. количество их еще возросло, и они как нельзя лучше свидетельствовали о росте политического развития казанского студенчества, в сознании которого академическая борьба тесно переплеталась с борьбой политической, а эта последняя уже неразрывно связывалась с жертвой в бою с деспотизмом, с „сибирским грибом и тачкой". Наряду с этим казанские песни свидетельствуют и о глубоко осознанной социальной и политической дифференциации, о которой я уже упоминал в начале этой главы и которая резко обозначилась еще на самой заре борьбы.

Те, кого увлек революционный водоворот, обращаясь к высокопоставленным ренегатам, зло иронизировали:

Для чего бесплодно
Жертвовать собой,
Дерзко, благородно
Выходя на бой
С мыслью деспотизма,
Чтоб за свой принцип,
Милостью царизма
Съесть сибирский гриб...
Нет, в такой горячке
Преплохой расчет.
Можно и без тачки
Нам итти вперед.
Можно понемногу,
Веруя в прогресс,
Проложить дорогу
Через темный лес...

Так революционное разночинное студенчество заклеймило либеральствующую дворянскую часть Казанского университета.

Все, что молодо, что смело,
Чей язык не льстив и строг,
В ком святая искра тлела, —
Всех в изгнанье иль в острог.

Так откликнулось оно на результаты следствия по поводу казанских беспорядков. Разница политической устремленности этих песен с аналогичными откликами московских студентов на „Дрезденское сражение“ — сама собой очевидна и свидетельствует о том, какой большой путь политического самосознания успело уже проделать казанское студенчество.

Выше я определил казанское революционное студенчество, в смысле его социальной базы, как разночинное, в сущности — мелкобуржуазное. Если мы присмотримся к вождям казанского движения, пошедшим в ссылку, то убедимся, что характеристика эта столь же верна, как и в отношении участников бездninской панихиды. Это и естественно, вследствие органической связанности обоих событий.

Перед „советом лукавым“, вершившим судьбы студентов, длинной вереницей проходили сыновья провинциальных врачей, учителей, канцеляристов, всевозможных мелких чиновников, купцов 3-й гильдии, дьячков, даже крестьян. Очень редко мелькали среди них дворянские фамилии. Да и то лишь тщательными геральдическими справками можно было установить их „высокое“ происхождение, начисто выщербленное мельчайшими чиновничьими регалиями их отцов, давно и безнадежно оторванных от своего класса. Кажется, среди участников казанского студенческого движения был только один представитель подлинного землевладельческого (хотя и мелкопоместного) дворянства. Звали этого дворянина — Каракозов.

ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ

1861 год тяжелым эхом отозвался во всех русских университетах (исключая Дерптского). Студенческая молодежь повсюду, в разной мере и в разных формах, протестовала против похода реакции. В свою очередь правительство отстреливалось увольнениями, „волчьими билетами“ и ссылками. Но одновременно начинался новый пересмотр всей системы народного образования, следствием чего явился устав 1863 года.

Необычайное возбуждение вынудило правительство пойти на некоторые уступки. Путятин заменен был умеренно-либеральным чиновником Головниным. 18 июня 1863 г. университетам дан был новый устав, носивший „полубуржуазный, полуполицейский характер“. Опыт 1861 г. во многом оказался полезен правительству. Сравнение Петербургского и Московского университетов показало, насколько легче бороться со студенчеством там, где оно не чувствует за своей спиной поддержки профессорской коллегии. Совершенно в духе этого урока правительство при выработке устава 1863 г. следовало принципу: „Разделяй и властвуй“. Устав имел в виду резко разобщить интересы студенчества и профессуры. Корпоративный строй студенческой жизни уничтожался окончательно, посторонние слушатели и публика изгонялись из университета. Напротив того, профессорская коллегия приобретала некоторую автономию. Функции попечителя ограничивались

контролем. Профессора получали право избирать ректора, проректора, деканов, профессоров, университетский суд. Вводился институт приват-доцентуры. Во всем этом была, конечно, изрядная капля дегтя: именно, право министра кассировать любые выборы. И, наряду с этим, устав, воспроизводя таким образом в известной мере формы германского профессорского самоуправления, у Франции заимствовал обязательный учебный план университетов.

Само собой разумеется, что подобный устав, совершенно в духе реформ 60-х годов, ни в какой степени не мог удовлетворить студенчество. Правительство озаботилось принятием и ряда других мер, чисто практического свойства, имевших целью приведение университетов к покорности. Очень не скоро сумели университеты хоть несколько оправиться от этих жестких репрессивных мер. Достаточно сказать, что, тогда как в 1861 г. в Петербургском университете было около 1 500 учащихся, к началу 1863 акад. года их насчитывалось немногим более 250.

Но „студенческие истории“ имели крупное общественное значение. „Кто виноват? Где виновники? — восклицал Герцен. — Благодушный император или бездушный Путятин? Шувалов или Строганов? Московская полиция или преображенская?

Все виноваты, все играли роль добровольных палачей, жестоких палачей; но вместе с тем они пользуются и выгодами, связанными со званием заплечных мастеров: они отвечают только за исполнение. Пусть их замучит совесть, пусть их замучит общественное презрение; пусть они, наконец, будут наказаны на том основании, на котором в Англии казнят зверей, причинивших смерть человеку. Чорт с ними, со всеми. Ни их виновность, ни их казнь не объясняет дела.

Университетская история — не случайность, не каприз, а начало неминуемой борьбы. Борьба эта должна была завязаться там или тут, она завязалась на самой естественной почве. Противоречия, лежащие в основе политической жизни, раздвинулись до того, что никакой Александр Николаевич не устоит Колоссом Родосским. Несовместимое противоречие, которое бросается в глаза между университетом и преображенскими казармами, не только существует во всех сферах жизни, но, что особенно важно, приходит к сознанию".

В строках этих отрезанный от России Герцен чрезвычайно ярко передал впечатление, произведенное студенческим движением на передовые слои русского общества. Центральными лозунгами студенческого движения, как мы видели, явились: доступность университетского образования и свобода корпоративных организаций. Уже занявшее резко антагонистские позиции по отношению к правительству, студенчество еще не выработало твердых и отчетливых политических лозунгов. Да едва ли тогда и были такие лозунги, способные объединить вокруг себя все студенчество. Но оно — по крайней мере, в своей передовой части — являлось авангардом, застрельщиком демократической интеллигенции. И потому нет ничего удивительного в том, что в сознании этой последней всякое студенческое выступление окрашивалось в резко политические тона. Даже в тех случаях, когда сознательно студенчество возмущалось только на почве чисто академических вопросов, объективно всякое его волнение, всякий его протест приобретал политический характер.

Революционные кружки чутко прислушивались к студенческому движению. „Колокол" уже подсказывал университетской молодежи политическую

программу: России — свободу, Польше — независимость, крестьянам — землю. Передовая демократическая часть России восприняла студенческие выступления как набат, как призыв к революционной борьбе.

Огарев мечтал о том, как студенты, „рассыпавшись по России, перенесут кафедры во все уголки России и поведут народ на борьбу за свободу. Университет, доступный только для богатых, университет исключительно дворянский в России невозможен. Университетская молодежь, рассыпавшись по России, послужит соединительным мостом для сословий... Пускай закрывают университеты. Устройте кафедры в городских залах и в волостных избах, в своей комнате и на базарной площади".

Это, конечно, была блестящая утопия, но утопия, частично претворявшаяся в жизнь.

Волнениями 1861 года собственно студенческое движение, в тесном смысле этого слова, кончилось. В шестидесятые годы студенчество уже не поднималось до коллективного протеста, который, отталкиваясь от чисто профессиональных интересов, приобретал бы столь ярко выраженный политический характер. Но из этого не следует, чтобы университетская молодежь сошла с арены политической борьбы. Напротив того, ни один тайный кружок, ни одно видимое проявление революционного движения, ни один политический процесс не обходились без активного участия представителей студенчества.

Студенческое движение органически и естественно влилось, растворилось в общественном движении шестидесятых годов. Демократическое студенчество в первых рядах революционеров пробивается в казармы, в деревню, в воскресные школы.

Оно замещает должности сельских учителей и волостных писарей. И всеми путями, и всюду — оно ведет широкую пропаганду, несет революционную проповедь.

В студенческой среде рождается целый ряд революционных кружков, которые ведут серьезную революционную работу, печатают и распространяют агитационную литературу. Московский студенческий кружок Зайчневского и Аргиропуло выпускает известную прокламацию „Молодая Россия“, получившую широчайшее распространение. С организацией „Земли и Воли“, крупнейшей революционной организации шестидесятых годов, в нее широким потоком вливаются петербургские студенты, оказавшиеся в числе наиболее деятельных членов. Студенты участвуют и во всех других революционных кружках, как связанных с центральной организацией „Земли и Воли“, так и самостоятельных.

Шестидесятые годы ставили новые требования перед радикальной университетской молодежью. Она чутко и горячо откликалась на них, принимая активное и влиятельное участие в общем ходе революционного движения. Поэтому вполне естественно, что студенческие волнения как таковые прекратились. Они не умерли, однако, а только замерли, чтобы через два десятилетия разразиться с новой силой.

ЛИТЕРАТУРА СТУДЕНЧЕСКИХ ВОЛНЕНИЙ

I. ЗАПИСКА СТУДЕНТОВ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 1858 г.

... Время шло обыкновенным порядком. Студенты развивались, а университетские постановления, написанные задолго до нас, оставались неподвижны, как религиозные догматы. Отсюда явился разлад между нашими убеждениями, нашими потребностями и университетскими положительными законами. Вследствие сего начались беспрерывные студенческие волнения по всей России, которые продолжаются и до сих пор. Кончатся ли они когда-нибудь, если студенты не будут удовлетворены? Не думаем. Напротив, мы видим, что волнения становятся все серьезнее и принимают все бо́льшие и бо́льшие размеры.

Необходимость реформы сделалась очевидною.

Но как приступит к ней правительство, как узнает оно нужды студентов? Разумнее всего, казалось бы обратиться с вопросами к нашему ближайшему начальству. Правительство, может быть, даже наверное, так и сделает, но принесет ли это ожидаемые результаты? Конечно, нет! Кто вглядывался в наши общественные дела, кто следил за действиями и распоряжениями нашего начальства, тот мог легко заметить, что оно всячески старалось останавливать

наше развитие. Доказательством высказанной мысли служат стеснительные статьи, удержанные нашим начальством, разумеется, с целью иметь средства подавлять в нас каждое справедливое проявление личной свободы.

Итак рассчитывать на наше начальство было бы ребячеством с нашей стороны. Предполагать, подобно дедам, что правительство наитием святого духа угадает наши потребности, мы не можем. Вера в византийское учение о божественном происхождении верховной власти и вообще всех властей— миновала для нас безвозвратно. Остается обратиться к своим собственным силам.

Нам приятно было убедиться, что к тем же самым результатам пришли и представители наших курсов, а стало-быть большинство студентов. [1]

II. ЭХО. № 1. 27 XI 1858 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 27-го

Депутаты 12 курсов решили во всем положиться на милость попечителя. [2] В этом факте так явно проглядывают подлости холопства, что это не требует никакого пояснения.

Депутаты 4-го курса медиков и 1-го курса филологов и математиков решили, в случае неудовлетворения своей просьбы, подать увольнение.

---

[1] Начало „Записки“ утрачено. Датирована она 27 ноября 1858 года. Закревский писал Орлову: „Посылаю тебе... записку студентов о необходимости преобразований в университете... ты увидишь, что зло пустило уже корни“. И. М. Соловьев, впервые опубликовавший „записку“, предполагал, что это своего рода особое мнение, разошедшееся с группою академического большинства, и что она была выпущена в качестве приложения к одной из студенческих газет.

[2] Газеты „Эхо“ и „Последний звук“ вызваны были и посвящены „Варнековской истории“ См. выше, стр. 26—32.

Депутаты 2-го курса математиков и юристов отвечали нерешительно.

2-й № листка „Последний звук" обвиняет 1-й курс филологов в недеятельности. Это обвинение совершенно ложно, что доказывает предыдущее.

По словам медика 5-го курса Бернатовича, Армфельд [1] сказал, что 1-й курс медиков при наказании будет разделен на четыре разряда: 1-й состоит из студентов, которые будут выключены из Московского университета с правом вступить в другие, 2-й—из студентов, которые будут уволены по собственному прошению, 3-й переименуется в вольнослушателей, и 4-й разряд—студенты этого разряда останутся по прежнему.

Кн. Трубецкой [2] рассказывал в курильне, что Бабст, [3] на вопрос попечителя: „возвратить ли Жохова?" [4] сказал, что не только не нужно принимать, но даже исключить еще некоторых.

Вот как благотворны бывают путешествия для русских профессоров. Не даром пропадают казенные деньги.

Во время чтения одной из последних лекций политической экономии Бабст обратился к опоздавшим студентам с замечанием, что студенты не могут еще обходиться без полиции.

---

[1] А. О. Армфельд—доктор медицины, профессор Московского университета.

[2] Студент Московского университета. О нем см. стр. 32.

[3] И. К. Бабст—известный профессор политической экономии, сперва Казанского, а с 1857 г. Московского университета. В 1859 году была напечатана его книга: „От Москвы до Лейпцига", посвященная впечатлениям, вынесенным им из заграничной командировки.

[4] Студент Московского университета. О нем см. стр. 28—29.

Прошлый год за подобную выходку Майкова хотели выбросить из аудитории [1]. Отчего же теперь промолчали Бабсту?

Говорят, что в совете профессоров 26 ноября Леонтьев [2] требовал, чтобы исключили из университета весь 1-й курс медиков; на это ему отвечал попечитель, что исключение всего курса будет началом общего волнения, а исключение половины не повлечет за собою никаких последствий. Над этим профессора очень много смеялись.

Говорят, что 2-й и 3-й курсы филологов составили подписку, чтобы заставить издателя листка „Свой Звонок" выставлять имя автора под статьею, где будет выставлена какая-нибудь личность.

Говорят, что общественное мнение в Москве против студентов, потому что они вступаются за неправое дело; оно считает Жохова, словами кн. Трубецкого, не медиком, а юристом. Что побудило вышеупомянутого князя разыгрывать роль шпиона и клеветника?

На каком основании Комиссия выключила Клаусса [3] еще до окончания следствия, между тем, как законы российской империи запрещают это? Основываясь на таком явно противозаконном поступке, не можем ли и мы протестовать против решения Комиссии?

Почему у всех студентов полиция отбирает билеты, данные на прожитие?

---

1 Профессор Московского университета по кафедре русской словесности А. А. Майков, незадолго перед тем, в 1858 г., освистанный и вынужденный покинуть кафедру.

2 П. М. Леонтьев—профессор римской словесности.

3 Студент Московского университета, один из наиболее деятельных участников „Варнековской истории", исключенный персонально, еще прежде общего постановления комиссии.

III. ЖИВОЙ ГОЛОС. 1858, № 1
(Из передовой статьи)

Несмотря на убийственную холодность некоторых студентов, большая часть из них сильно затронута поднятым вопросом. Цель нашей газеты состоит в знакомстве с ходом этой истории и с дальнейшим расширением этого вопроса, так как редакция обладает некоторою возможностью иметь верные и довольно свежие о них известия.

Далее, цель нашей газеты заключается в распространении понятия о необходимости реформы университета и, по возможности, в уничтожении того мертвящего равнодушия, которое позволяет надевать на себя ошейник и бить по щекам...

Три года назад Московский университет отпраздновал свое столетие, через 4 года Россия отпразднует свое тысячелетие. И тот и другая только в наше время начали сознавать свое место, теперь лишь выходят на чистую дорогу, проходивши всю свою жизнь по грязным и вонючим переулкам и проселочным дорогам в треугольной шляпе и шпаге, в соседстве двух полиций.

Теперь, благодаря смерти Николая I, настало другое время. Крестьяне освобождаются от помещичьей розги, подсудимые менее притесняются корыстью бюрократов, литература вступает в свои права, затрагивает многие живые вопросы, даны средства науке двигаться вперед, из-под сжатых объятий цензуры вырывается на свет божий светлая, величавая гласность, эта ходячая совесть людей, заставляющая трепетать всех бессовестных. Кто же может сочувствовать такому прогрессу русского общества более университета? Он состоит из людей, посвятивших себя исключительно науке, людей, по 25 лет, изучающих ее, с одной стороны, и из моло-

дого поколения, всегда и везде более всех сочувствующего всякой хорошей и благой реформе, каждому проявлению прогресса—с другой.

Так, университет должен всего более радоваться этому и не стеснять, а расширять дорогу, на которую вступает наше общество.

IV. СТУДЕНТАМ [1]

Студенты! Был неправый суд,
Достойный мести и проклятий,
Теперь с жандармами везут,
Как арестантов, наших братий.
Для них закрыты все пути,
Для них погашен свет науки,
Им не дадут вперед итти,
Им и в изгнаньи свяжут руки...
О, как велико это зло,
Какое дать ему названье?
Чье сердце вынести могло,
В ком не кипит негодованье?
Кто в состояньи перенесть
Такое дикое гоненье,
В том умерла навеки честь,
Тот стоит общего презренья!
Идем же дружною толпой,
Друзья, покинуть эти стены,
Где подлость давит нас пятой.
Где дух шпионства и измены!
Пусть нас засудит подлый суд!
Погибнем все, без исключенья;
Но судьи наши не уйдут
От осуждения и мщенья!

23 X 1859 г. Казань.

V. ОСТАВШИМСЯ СТУДЕНТАМ.

К вам обращаюсь я, рабы!
К вам, трупы жалкие—студенты!
К вам, не испортившим судьбы:

---

[1] Стихотворения „Студентам“ и „Оставшимся студентам“ вызваны казанскими событиями 1859 года. См. выше, стр. 23—40.

Вам нужны степень и патенты?
О, в добрый час! Широкий путь
Лежит открыто перед вами.
Вы легче можете вздохнуть,
Вы с глазу на глаз с подлецами.
Теперь бездарность в ход пойдет,
Талант дороги не заслонит...
Шпионы, пьяницы,—вперед!
Тепер никто вас не изгонит,
Вам все начальство извинит.
Вы доказали так прекрасно,
Что рабство вас не тяготит,
Что вас обидеть—труд напрасный.
Мне жаль отцов и матерей,
Убитых горестью глубокой,
Чьих обожаемых детей
Несправедливо и жестоко
Изгнали за порыв святой,
По делу чести и науки;
А ваших ждет удар другой,
Другие тягостные муки...
Увы, теперь заклеймлены
Печатью страшного позора
Их ненаглядные сыны,
Надежда, радость и подпора...
А ты, страдалица моя,
Страна родимая, святая,
Где сила лучшая твоя,
Твоя надежда дорогая?
Одних на жертву принесут
Своим страстям твои тираны,
Другие ядом обольют
Твои зияющие раны!..

VI. ПРОКЛАМАЦИЯ ПЕТЕРБУРГСКИХ СТУДЕНТОВ 1861 г.

Наш век железный, век царей,
Штыков, законов бестолковых,
Плодит без счету не людей—
Людишек, дрянненьких, дешевых.

Правительство бросило нам перчатку, теперь посмотрим, сколько наберется рыцарей, чтобы поднять ее. На словах их очень много, куда ни обернешься—

везде красные, только как бы нам не пришлось краснеть за них.

„Студенты буйствуют, студенты своевольничают“,—брюзжат седовласые столпы отечества (прямые столпы), и вот являются перед глазами публики декреты: впускать в университет только платящих (выражаясь прямее: душить невежеством массу); запретить всякие сходки (т. е. dividere et imperare, а как imperare—почувствуем впоследствии). Вот покуда два образчика нежности.

Этого мало? Да, конечно. Но это только цветочки. Но что же нам делать? Да ничего... молчать. И поэтому молчите, молчите, молчите...

Русский народ давно отличался долготерпением, били нас татары—мы молчали, били цари—молчали и кланялись, теперь бьют немцы—мы молчим и уважаем их!.. Прогресс!.. Да в самом деле, что нам за охота заваривать серьезную кашу? Мы ведь широкие натуры, готовые на грязные полицейские скандальчики, под пьяную руку. Это только там где-то, на Западе, есть такие дурни, которых ведет на подвиги одно пустое слово—la gloire.

Теперь нам запрещают решительно все, позволяют нам сидеть скромно на скамьях, слушать цензированные страхом лекции, вести себя прилично, как следует в классе, и требуют не рассуждать, слышите ли—не рассуждать!..

Но, господа, если паче чаяния взбредет нам, что и мы тоже люди, что у нас есть головы, чтобы мыслить, язык—чтобы не доносить, а говорить то, что мы мыслим, есть целых пять чувств—чтобы воспринимать ощущения от правительственных ласк и глазом, и ухом, и прочими благородными и неблагородными частями тела,—что если о всем этом мы догадаемся нечаянно? Как вы думаете, что из

этого выйдет? Да ничего... Посмотрите на эпиграф и посмотрите все, что выйдет.

Все данные имеются у нас теперь, чтобы нам обмануться в наших словах.

Мы—легион, потому что за нас здравый смысл, общественное мнение, литература, профессора, бесчисленные кружки свободно мыслящих людей, Западная Европа, все лучшее, передовое за нас. Нас много, более даже, чем шпионов. Стоит только показать, что нас много. Теперь кто же против нас? Пять-шесть олигархов, тиранов подлых, крадущих, отравляющих рабов, желающих быть господами; они теперь выворачивают тулупы, чтобы пугать нас, как малых детей, и чтобы еще более уподобиться своей братье-зверям; но бояться их нечего, стоит только показать, что мы не боимся; потом против нас несколько тысяч штыков, которые не смеют направить против нас. Вот все — что же тут страшного? Итак все, кто не боится, пусть сплачиваются в массу и... пусть будет, что будет. Худого не может быть: мы не за худое.

Главное, бойтесь разногласья и не трусьте энергических мер. Имейте в голове одно: стрелять в нас не смеют—из-за университета в Петербурге вспыхнет бунт. Уже теперь наши начальники твердят (покачивая головами): „Столица неспокойна".

На наших мы менее надеемся, чем на поляков. В них более благородного самоотвержения: они умели смело покушаться несколько раз на приобретение своей свободы, умели без страха итти на пытку, в рудники, страдать за идею, и поэтому наш братский призыв к ним принять самое деятельное участие в общем деле, поделиться с нами своею энергиею.

Энергия, энергия, энергия!.. Вспомним, что мы

молоды, а в это время люди бывают благородны и самоотверженны; не пугайтесь ничего, повторяем еще раз, хотя бы пришлось итти всему университету в келью богомольного монастыря.

Судите!.. Но не напоминайте собою эпиграфа.

VII. УЗНИКУ [1]

Из стен тюрьмы, из стен неволи
Мы братский шлем тебе привет.
Пусть облегчит в час злобной доли
Тебя он, наш родной поэт!
Проклятым гнетом самовластья
Нам не дано тебя обнять.
И дань любви и дань участья
Тебе, учитель наш, воздать!
Но день придет, и на свободе
Мы про тебя расскажем все,
Расскажем в русском мы народе,
Как ты страдал из-за него.
Да, сеял доброе ты семя,
Вещал ты слово правды нам,
Верь—плод взойдет, и наше время
Отмстит сторицею врагам.
И разорвет позора цепи,
Сорвет с чела ярмо раба,
И призовет из снежной степи
Сынов народа и тебя.

Н. И. Утин.

VIII. ЧЕРНОВОЙ ПРОЕКТ АДРЕСА НА ВЫСОЧАЙШЕЕ ИМЯ ОТ СТУДЕНТОВ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, СОСТАВЛЕННЫЙ „САДОВОЙ ПАРТИЕЙ“ 29 IX 1861.

Титул...

1) В настоящее время Россия всего более нуждается в людях, получивших университетское образование. Сами вы, ваше величество, публично признавали это несколько раз. Так, еще недавно мы читали в газетах благодарность, изъявленную вашим

---

[1] М. И. Михайлову. См. выше, стр. 64.

величеством г-ну калужскому губернатору за замещение всех мест судебных следователей Калужской губернии людьми, получившими образование в высших учебных заведениях. Должности мировых посредников, столь важные в настоящее время, могут вполне достигнуть своей цели только тогда, когда они будут заняты людьми университетски образованными и гуманными. Неужели же какие-нибудь ничтожные беспорядки могут иметь такое влияние, что вследствие них закрывают университеты, отнимается обязательною платою возможность у большинства молодых людей получить университетское образование? В нынешнем году очень много молодых людей, желавших получить университетское образование, не могли поступить в университет только потому, что не имели возможности платить 50 р. в год за слушание лекций.

Русское общество выразило полное несочувствие к этой мере, со всех сторон слышно о подписке в пользу бедных студентов. Поэтому мы просим ваше величество об уничтожении обязательной платы за слушание лекций бедным студентам.

2) а) [Так как настоящие правила для студентов совершенно не соответствуют значению университета, поэтому мы просим ваше величество об отмене существующих правил для студентов и о позволении составить проект новых правил комиссии, которая состояла-бы из депутатов от студентов всех факультетов и депутатов из профессоров.][1]

в) о позволении студентам организовать правильные общества.

3) [Студенческое общество такое же юридическое лицо, как и прочие юридические лица государства,

---

[1] В квадратные скобки заключены абзацы, вычеркнутые представителями умеренной партии.

а потому мы просим ваше величество дозволить студенческому обществу иметь своих депутатов при следствиях по преступлениям и проступкам студентов, нарушающих общие законы государства.]

Государь! Мы надеемся, что ваше императорское величество обратите ваше благосклонное внимание на законное заявление наших нужд. Все просьбы, здесь изложенные,—законны: они выражают единодушное желание всего студенческого общества. Мы просим не своеволия, а права, не противоречащего существующему государственному порядку, а напротив того,—то, что может поддержать этот порядок, того, что может возвысить университет. что будет постоянно поддерживать нравственный дух студентов.

IX. ТОРЖЕСТВЕННАЯ ОДА НА ПОБЕДУ, ОДЕРЖАННУЮ ГЕН.-АДЪЮТ. ПАВЛОМ АЛЕКСЕЕВИЧЕМ ТУЧКОВЫМ 12 ОКТЯБРЯ 1861 ГОДА НАД СТУДЕНТАМИ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Была та светлая пора,
Когда Россия молодая,
С надеждой на царя взирая,
Мужалась гением добра.
Сгорая жаждой просвещенья
Она звала своих сынов
На мирный подвиг обновленья,—
Тогда явился в ней Тучков. [1]

* * *

Герой, в казармах поседелый,
Маститый воин-либерал,—
Он приступил к реформам смело,
Прибавку жалованья взял.
И овдовелою Москвою
Стал править с кроткою душою:

---

[1] П. А. Тучков — московский генерал-губернатор. О нем выше, стр. 89 и сл.

Дом перекрасил на Тверской,
Хожалых собственным примером
Учил приветливым манерам
И по-немецки жил с женой.

* * *

И подходил к его воротам
Без страха писарь и купец,
По середам и по субботам
Не говорил он им „подлец".
Порядок всюду наблюдая,
Тучков с улыбкой все сносил,
Как Брут пред казнию Тирана,
Как Пятый Сикст у Ватикана,
Он душу грозную таил.

* * *

Но вдруг разнесся слух ужасный:
В Москве мятеж. Вот с Моховой
В одежде форменной и частной
Студенты хлынули толпой.
Хотят, с отвагой своевольной,
Просить защиты у того,
Кого считают добрым малым,
Хотя и „Русским либералом."
Пускай приходят, ничего:—
В экзерциргаузе все готово.
Народу шепчут: „Поляки,—
Задорный люд,—бунтуют снова:
Готовьте, братцы, кулаки!"
Студенты строятся: кто с книжкой,
А кто с тетрадию под мышкой
И, „грозно став на площади",
Покорно просят генерала
К ним выйти через двери зала,
А там — жандармы позади.

* * *

Пришел старик, во блеске власти,
И стал могучий, как гроза,—
И вдруг оделись дымкой страсти
Его телячие глаза.
Взыграл герой, веселья полный!
Жандармов яростные волны,
Бушуя врезались в толпу,—
Крутят, хватают, бьют, колотят,
Как на гумне, когда молотят
Цеп, мерно бьющий по снопу.

Сечинского [1] сверкает шпага,
А Дубельт [2] шпорами звенит
И пьяных дворников ватага,
Под их командою спешит!
Бегут студенты врассыпную,
Кто в магазин, кто в мастерскую,
Кто по дворам! В Тверской части
Вновь дан сигнал: „марш-марш в атаку",—
И конница летит на драку
Удар последний нанести.

* * *

Лей слезы, Беринг, [3] плачь, Закревский, [4]
Померкла слава ваших дней.
Путятин, Александр Невский,
Сам в Петербурге присмирел.
Он удивляется Тучкову,
И царства русского основу
Он уважает в нем.
И пред курганом Бородинским
Другой Тучков челом воинским
Поник пред этим торжеством. [5]

* * *

Потомства суд — не суд Шемякин,
Он вас почтить всегда готов,
О вы, Апраксин [6] и Дренякин, [7]
Закревский, Беринг и Тучков.
А вы, французы, англичане,
Европы жалкие мещане,—
Уж на Малаховский редут

---

[1] Полк. И. И. Сечинский — один из московских полицей-мейстеров.

[2] Флигель-адъютант полк. М. Л. Дубельт, сын шефа жандармов, состоявший при министерстве внутренних дел.

[3] А. А. Тимашев-Беринг — московский обер-полицеймейстер в 1840—50 гг.

[4] Гр. А. А. Закревский — предшественник Тучкова на посту московского военного генерал-губернатора.

[5] Генерал А. А. Тучков, дядя генерал-губернатора, был убит под Бородиным.

[6] Флигель-адъютант Апраксин — усмиритель Безднинского восстания. О нем см. стр. 48—49.

[7] Н. В. Дренякин — частный пристав московской полиции.

Не Франц Тотлебен, не Нахимов, [1]
А сам Тучков и сам Назимов [2]
Отныне в бой нас поведут.

X. ПЕСНЯ

Как двенадцата числа
Нас нелегкая несла
Просьбы подавать.
Наш Раевский [3] либерал
Все к Тучкову приставал:
„Нельзя ли царю послать.
Генерал, прими ты просьбу,
Принеси студентам пользу,
Будешь либерал".
Мы к Грановскому ходили,
Благословения просили,—
Только он не дал.
Исакова [4] поругали,
Да и Крейца [5] посвистали,—
Был тут шум большой.
Тут жандармов подослали,
Двадцать человек забрали
В поздний час ночной.
Вот студенты собралися
И к Тучкову поплелися,
Чтоб назад отдал,—
Но к нему не допустили,
А жандармами побили,—
Ай-да генерал.
Генерал смотрел с балкона,
Как жандармская колонна
Во весь дух неслась,
На студентов налетела
Била всех, кого хотела,

---

[1] Герои севастопольской обороны.

[2] В. И. Назимов — бывший попечитель московского учебного округа.

[3] Студент московского университета Н. Н. Раевский. О нем см. стр. 98 и сл.

[4] Генерал Н. В. Исаков — попечитель московского учебного округа, о нем стр. 101 и сл.

[5] Генерал-майор гр. Г. К. Крейц — московский обер-полицеймейстер.

Благо дорвалась.
Генеральша ж прослезилась,
Даже в обморок свалилась,
Крики поднялись.
Тут блюстители порядка:
Огарев, Сечинский, Пятка [1]
Забавляться принялись:
По всем улицам ходили,
Где студентов находили,
Всех тащили в часть.
Изорвали их, избили,
На дожде весь день морили,
Знай, мол, нашу власть.
От Тучкова-либерала,
Исакова-генерала
Вышел лишь скандал.
Царского же посещенья
Ждали все мы с нетерпеньем,—
Мимо проскакал.

XI. МОЛОДЫМ ЛИБЕРАЛАМ—ПРОФЕССОРАМ КАЗАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Янишевский да Больцани,
Князь, Сутковский да Козлов [2]
Да еще подобной дряни
Было множество голов.
Филологи и юристы,
Все, в ком совесть умерла,
Чьи сердца давно нечисты,
Чьи сомнительны дела:
Собралося это стадо
Под защитою штыков,
С ними был, как ждать и надо,
Психолог и богослов.

---

[1] Полковники Н. И. Огарев и И. И. Сечинский — московские полицеймейстеры. В. Н. Пяткин — частный пристав московской полиции.

[2] „Князь" — П. П. Вяземский, попечитель Казанского учебного округа. Остальные, как и упоминаемые ниже, — наиболее консервативные профессора Казанского университета. О первых двух см стр. 111—113. О Н. Н. Буличе — стр. 38.

И засел совет лукавый
В дом под сению креста.
„Отпустить, — кричат, — Варавву
И замучить вновь Христа".
Все, что молодо, что смело,
Чей язык не льстив и строг,
В ком святая искра тлела,—
Всех в изгнанье иль в острог.
Где ж вы были, молодые
Либералы-крикуны,
Вы, враги неподкупные
Пресловутой старины,
Что вы делали... ужели
Вслед за Буличем пошли
Пред Больцани онемели,
С князем дружбу завели?
Или поп пугнул вас адом.
Или каторгой Кремлев,
Иль Осокин мутным взглядом
И мычанием без слов?
Иль пример вам был забытый
Григорович, буквоед?
Или Блосфельд — муж маститый,
Обезумевший от лет?
Или Чебышев, семейством
Удрученный чересчур,
Зедерштед с своим лакейством
Иль Сутковский-самодур?
В чем найдете оправданье?
Или так же, как Пилат,
Рук нечистых умыванье
Вы начнете все сподряд?
Тридцать сребренников дали
Там Иуде за Христа;
Вы скажите, сколько взяли,
Погубивши больше ста?
Что ж молчите... Отвечайте,
Честных граждан вожаки;
Иль во вражий стан ступайте:
Вас обнимут старики.

29/X — 1861. Казань.

А. С. Гацисский.

БИБЛИОГРАФИЯ

И. Соловьев. Русские университеты в их уставах и воспоминаниях современников. Вып. I. СПБ. 1914.

И. Н. Бороздин. Университеты в России в эпоху шестидесятых годов. „История России в XIX веке". Издание Гранат. Вып. 15.

С. Ашевский. Русское студенчество в эпоху шестидесятых годов (1855—1863). „Соврем. Мир", 1907, №№ 6—11.

Рафаил Выдрин. Основные моменты студенческого движения в России. М. 1908 г.

Деятели революционного движения в России. Био-библиографический словарь. Т. I, ч. 2. Шестидесятые годы. Составили А. А. Шилов и М. Г. Карнаухова. Издательство Политкаторжан. М. 1928.

С. Мельгунов. Из истории студенческих обществ в русских университетах. 1904.

В. В. Григорьев. Имп. С.-Петербургский университет в течение первых пятидесяти лет его существования. СПБ. 1870.

В. Д. Спасович. Пятидесятилетие Петербургского университета (по поводу книги В. В. Григорьева). Сочинения, т. IV. СПБ. 1891.

М. К. Корбут. Казанский государственный университет им. В. Ульянова-Ленина за 125 лет. Т. I. Казань. 1930.

Д. И. Багалей. Краткий очерк истории Харьковского университета. Харьков, 1906.

Владимирский-Буданов История университета Св. Владимира. Киев. 1884.

А. И. Георгиевский. Краткий очерк правительственных мер и предначертаний против студенческих беспорядков. СПБ. 1890.

Материалы по истории студенческого движения в России. Вып. I. Лондон—СПБ, 1906.

Д. И. Писарев. Наша университетская наука. 1863.

К. Д. Кавелин. Записка об университетских беспорядках. Сочинения, т. II.

М. М. Стасюлевич и его современники в переписке. Т. I. СПБ. 1911 (Материалы по университетскому вопросу).

И. Соловьев. Университетский вопрос в 1860 годах. „Вестник Воспитания", 1913. № 9.

Н. Н. Родзевич. Отставка Е. П. Ковалевского. „Историч. вестник", 1905. № 1.

И. А. Свиньин. Воспоминания студента шестидесятых годов. Тамбов, 1890.

А. В. Никитенко. Записки и дневник. Т. I. СПБ. 1905.

Виктор Острогорский. Из истории моего учительства. СПБ. 1895.

Л. Ф. Пантелеев. Из воспоминаний прошлого. СПБ. 1905.

Б. Модзалевский. К истории Петербургского университета в 1857—1859 гг. (Из бумаг Л. Н. Модзалевскаго). „Голос Минувшего", 1917, № 1.

А. И. Герцен. Синхедрион московских университетских фарисеев. „Колокол", л. 55 (I/XI 1859). То же: Полное собрание сочинений, т. X.

П. В. Лебединский. Из жизни Московского университета. Варнековская история „Голос Минувшего". 1915. № 9.

И. М. Соловьев. Из общественных настроений московского студенчества в 1858 г. „Голос Минувшего", 1915, № 9.

А. И. Герцен. Правила для студентов Московского университета. „Колокол", л. 59 (15/XII 1859). То же: Полное собрание сочинений, т. X.

А. И. Герцен. Харьковская история. „Колокол", л. 26 (1/VIII 1858). То же: Полное собрание сочинений, т. IX.

П. П. Мазуренко. Первая харьковская университетская история. (Из воспоминаний старого студента.) „Историч. вестник" 1907. № 9.

Н. М. С[оковни]н. Воспоминания старого казанского студента. 1856—1858 гг. „Русская старина", 1892, т. 77.

И. И. Михайлов. Казанская старина. „Русская Старина" 1900, № 11.

Д. А. Корсаков. Былое из Казанской жизни. „Казанский литературный сборник". Казань, 1878.

А. С. Гациссский. Страничка из жизни пятидесятых годов. Там же.

[Н. П. Булич.] Казанская полиция не отстает от московской. „Колокол", лл. 40—41 (1859).

Н. К. Ренненкампф. Киевская университетская старина. „Русская старина", 1899, № 7.

А. В. Романович-Славутинский. Моя жизнь и академическая деятельность. „Вестник Европы“, 1903, №№ 1—6.

[И. А. Митропольский]. Воспоминания о студенческой жизни. М. 1899.

Сергей Гессен. Петербургский университет осенью 1861 года. (Сборник „Революционное движение шестидесятых годов“. Изд-во Политкаторжан, М., 1932.)

А. И. Герцен. Исполин просыпается. „Колокол“, л. 110 (1/XI. 1861). То же: полное собрание сочинений, т. XI.

Н. В. Шелгунов. Воспоминания. Редакция А. А. Шилова. ГИЗ. 1923.

Н. И. Костомаров. Неизданная глава из автобиографии. (Студенческие смуты. Закрытие университета). „Голос минувшего“ 1917, №№ 5—6.

А. А. Пеликан. В Петербургском университете. „Голос минувшего“. 1915, № 2.

В. Сорокин. Воспоминания старого студента. „Русская Старина“, 1888, № 12.

А. П. Керн. Рассказ о событиях в Петербурге в 1861 г. „Воспоминания“. Л. 1929. То же: „Минувшие годы“, 1908, № 10.

Архив Раевских. Редакция Б. Л. Модзалевского, т. V, Птг, 1915. (Собрание материалов о московских студенческих беспорядках 1861 года.)

Историческая записка о студенческих беспорядках в Москве осенью 1861 года. „Колокол“, 1862, №№ 126 и 127. В более испр. редакции: „Чтение О-ва истории и древностей российских“ 1905, П. Отдельно М., 1905.

Сергей Гессен. Студенческая демонстрация в Москве в 1861 году. (Письма С. Н. Бибиковой к Е. П. Оболенскому.) „Каторга и ссылка“, 1930, № 5.

И. А. Худяков. Записки каракозовца. М.—Л. 1930 (Гл. 6 „Студенческие истории конца 1861 года“).

С. В. Ешевский. Московский университет в 1861 году. Сочинения по русской истории. М. 1900.

В. Линд. Воспоминания о моей жизни. „Русская мысль“, 1911, № 7—8.

В. Линд. Московское студенчество в 1861 году и его отношение к освобождению крестьян. (Из воспоминаний). „Великая реформа“ т. V. М. 1911.

Е. Салиас. Семь арестов. „Исторический вестник“ 1898. №№ 1—3.

П. Шестаков. Студенческие волнения в Москве в 1861 году. „Русская старина“, 1888, №№ 10—11.

Д. Д. Оболенский. Наброски из воспоминаний. „Русский архив“ 1894, № 10.

Из прошлого Казанского университета. (Ученые записки Казанского гос. университета им. В. И. Ульянова-Ленина, т. LXXXX, кн. 5.) Казань. 1930.

Н. А. Фирсов. Студенческие истории в Казанском университете 1855—1863 гг. „Русская старина“ 1889, №№ 3, 4, 6—8.

Н. П. Огарев. Университеты закрывают. „Колокол“, прибавл. к лл. 119—120 (15/I. 1862).

А. И. Герцен. Третья кровь. „Колокол“ л. 112 (15/IX. 1861). То же: Полное собрание сочинений, т. XI (с подробным комментарием М. К. Лемке о петербургских и московских студенческих беспорядках 1861 г.).

А. И. Герцен. По поводу студенческих избиений. „Колокол“ л. 113 (22/XI. 1861). То же: Полное собрание сочинений, т. XI.

Кроме указанной литературы ценные материалы о студенческом движении см. в мелких заметках и сообщениях А. И. Герцена (Полное собрание сочинений, тт. IX—XI и XV) и в корреспонденциях из России, напечатанных в „Колоколе“ в 1858—1861 гг.

О Петербургском университете в мемуарах: проф. Андреевского („Русская старина“, 1882, № 5), Ф. Устрялова („Историч. вестник“, 1884, №№ 6—8), Венюкова („Русская старина“ 1891, № 1.)

О московском университете: А. А. Ауэрбаха („Историч. вестник“, 1905, № 8), Ожинского („Русск. архив“, 1892, № 1) И. М. Снегирева (т. II, М. 1905, стр. 193—195); в „Клочках воспоминаний“ А. А. Стаховича, сочинениях И. С. Аксакова, т. IV, у Н. П. Барсукова. Жизнь и труды М. П. Погодина. кн. 18. СПБ. 1904, стр. 245—257.

О Харьковском университете: П. И. Вейнберга „Русское богатство“, 1905 № 2, де-Пуле („Вестник Европы“ 1874, № 2).

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Предисловие	3
На рубеже	6
Первые „студенческие истории“	17
Новый поход реакции	41
Университетские волнения в Петербурге	56
Московский университет осенью 1861 года	86
В Казани	109
Причины и следствия	118
Приложения:	
Литература студенческих волнений	123
Библиография	140

Отв. ред. *М. М. Константинов.* Техн. ред. *Ф. М. Точилин.*
Сдано в набор 7/VII 1932 г. Подписано к печати 7/IX 1932 г.
№ 35. Бумага 72×105 см. Тип. знак. на 1 бум. лист 57152. Бум. лист 4¼.
Главлит № В—30833. Тираж 15000 экз. Заказ 8394.